И ад следовал за ним

Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона

Михаил Любимов

Выстрел

- Михаил Петрович Любимов
- И ад следовал за ним: Выстрел
  - И ад следовал за ним – 2
  - АННОТАЦИЯ
  - Михаил Петрович Любимов
  - И ад следовал за ним: Выстрел
  - Выстрел
  - Вместо предисловия
  - Глава первая, очень малоподвижная, ибо все увязло в гиннессах и молтах, а человеку грустно, и не хочется вылезать из бочки
  - Глава вторая о том, что жизнь не так уж прекрасна, когда не рыдают скрипки и не скрипят хоралы
  -
  - Глава третья, в которой снова о тюряге, где дни мои блаженные текли
  -
  - Глава четвертая, она – гордость моя, ибо нет ничего прекраснее, чем быть великим и непризнанным
  - Глава пятая, в которой рифмы, как кильки в банке, громоздятся друг на друга
  -
  - Глава шестая, зануднейшая: дама выбирает колготки, а рыцарь размышляет о гульфике
  - Глава седьмая, в которой почтенный автор ничем не отличается от идиота
  - Глава восьмая, вдохновляющая на генеалогические подвиги, завязанные на мистике
  - Глава девятая, душераздирающая, ибо нет ничего трогательнее свидания с родиной после долгой разлуки
  - Глава десятая, терапевтическая, пургено-мезимо-неотразимая
  - Глава одиннадцатая, о любви папочек и деточек, о пиве и философии, о философии и пиве
  - Глава двенадцатая, в которой смешались запахи рыбной головы и тяжкой судьбы
  - Глава тринадцатая, стенания Павлушки из племени молодого, незнакомого
  - Глава четырнадцатая, танец с запутавшимися привидениями
  - Глава пятнадцатая, оптимистическая, жизнь продолжается, ми избавились от запоров и участвуем в олимпиадах
  - Глава шестнадцатая, скорбная, ибо начальству рано или поздно приходится расплачиваться за грехи
  - Глава семнадцатая о том, что совесть и ложь имеют одну материальную основу, и потому не надо содрогаться над откровениями Совести Эпохи
  - Эпилог

Михаил Петрович Любимов

И ад следовал за ним: Выстрел

И ад следовал за ним – 2

Название: И ад следовал за ним - 2. Выстрел
Автор: Михаил Любимов
Жанр: Шпионский детектив
Серия: И ад следовал за ним - 2
Издательство: АСТ
Год: 2012
Страниц: 352, ил.
ISBN: 978-5-271-43938-4
Формат: fb2

АННОТАЦИЯ

Алекс Уилки, советский разведчик-нелегал, попадает в английскую тюрьму, где проводит несколько лет. На родине тем временем происходит перестройка, международный климат смягчается, и Алекса неожиданно выпускают на волю. Происходит его встреча с неизвестным, который предлагает ему выехать в Москву. Облик столицы и нравы жителей неузнаваемо изменились – это поражает Алекса. К тому же он замечает за собой наружное наблюдение, чувствует себя окруженным врагами. Встречи с бывшими коллегами не проясняют дела, наоборот, Алекс все больше запутывается и не может найти выхода…

Михаил Петрович Любимов

И ад следовал за ним: Выстрел

Из гласных, идущих горлом,
Выбери “Ы”, придуманное монголом,
Сделай его существительным, сделай его глаголом,
Наречьем и междометием. “Ы” – общий вдох и выдох!
“Ы” мы хрипим, блюя от потерь и выгод,
либо кидаясь к двери с табличкой “выход”.
Но там стоишь ты, с дрыном, глаза навыкат.

Иосиф Бродский

Выстрел

Вместо предисловия

Профессору Генри Льюису

7 Стэнхоуп-террас, Лондон, W2, Великобритания

Уважаемый сэр! Много воды утекло под мостами с момента наших достаточно близких контактов, мир изменился на глазах и продолжает меняться, несмотря на наши недоуменные физиономии, которые то же время скручивает весьма беспощадно и порою самым недостойным образом.

Как мы оба радовались, когда грянула так называемая перестройка! Казалось, что произошла мировая революция (конечно, не в стиле громовержца Льва Троцкого!), всеобщее замирение охватило народы, и символ этого – грозная Берлинская стена – превратился в груду мусора, размалеванную бродячими художниками на радость всех свободных людей планеты.

Помнится, мы даже смели мечтать, что благоденствие опустится даже на самых непримиримых врагов – на разведывательные службы, и руки противников сомкнутся в дружеских рукопожатиях. М-да, тайные агенты оказались не менее способными, чем их хозяева, они даже превзошли любвеобильных президентов и плачущих от умиления премьер-министров: послышались призывы к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, обмену информацией об иных угрозах, ставших привычными для нашей повседневности.

Чувствую, что непокорное перо несет меня в длинное путешествие, и потому возвращаюсь к исходной причине моего письма: Алексу Уилки. Он, к счастью, жив, более того, продолжает радовать нас своими новыми шедеврами, которые, на мой нелитературный взгляд, дают все больше пищи для психиатров. Признаюсь, что я не имел чести с ним встречаться, да и желания такового не имею. Однако Уилки просит помочь с изданием его книги, в частности, оживить ее приличным предисловием. И тут, конечно, моя первая мысль обращена к вам: кто еще может лучше украсить труд бедного шпиона?

Однако я расписался, видимо, склероз влияет и на чувство меры.

Искренне Ваш Михаил Любимов

Михаилу Любимову Тверской бульвар, 23, Москва, Россия

Уважаемый сэр! Я думал, что только англичане столь предупредительны и щепетильны в своих просьбах, но оказывается, и русские вполне с нами соревнуются и даже превосходят. Ну конечно, я не откажу ни Вам, ни милому моему сердцу Алексу Уилки!

Превратности перестройки поначалу огорчили меня, но потом эйфорию сменил философский подход: а что, собственно, изменилось? Нам лишь казалось, что конец коммунизма приведет к единению и ликвидации границ. Ан нет! Геополитика никуда не исчезла, и даже в объятиях Франции Германия никогда не забудет о позоре и Версальского мира, и Нюрнбергского процесса.

Так что успокоимся и будем пить свой чай, тем паче, что, по слухам, в России сейчас популярен наш великолепный Earl Grey, ради которого, ей-богу, стоило разрушать железный занавес.

Должен признаться, что Лондон становится все противнее: он катастрофически почернел и пожелтел, лучшими ресторанами вроде “Ритц” или “Брауне” (что на Albemarle) управляют итальянцы, склонные заменить недожаренный стейк макаронами, и даже мой

любимый открытый театр в Холланд-парке функционирует нерегулярно. Но что делать? Видимо, это закон жизни, вызывающий наше с Вами возмущение, но отнюдь не препятствующий нашим потомкам творить, совокупляться, пить пиво и ездить на скачки в Аскот.

Счастлив получить от Вас весточку.

Искренне Ваш Генри Льюис

Профессор Генри Льюис **7** Стэнхоуп-террас, Лондон, W2, Великобритания

Дорогой профессор!

Совершенно неожиданно Ваше письмо взбудоражило меня до крайности: вспомнил я то время, когда обращали на себя внимание лишь темнокожие ямайцы, весь центр Лондона кишел серыми котелками, а порой и цилиндрами. В знаменитом "Симпсоне" полагалось дать шиллинг (тогда еще существовали бобы, а 20 бобов составляли одну гинею) за разделку ростбифа (воплощение Орфея, мастер с золингеновским ножом, священнодействовал над мясом), в Сити еще не было Барбикона, а одна мысль о жутковатом чертовом колесе неподалеку от Вестминстерского дворца повергнула бы слабонервных в обморок.

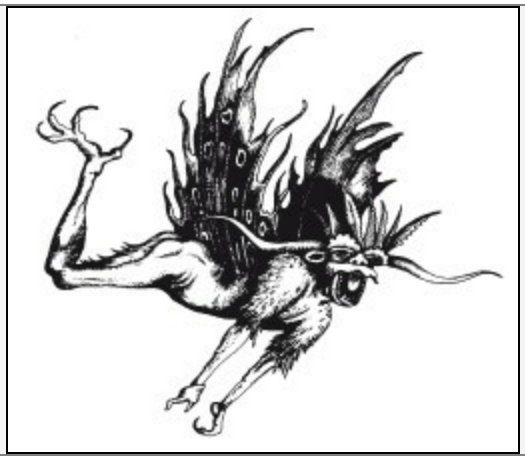
И я подумал: что нам все эти споры о важности или бесполезности шпионажа, если существуют зеленые поляны, прелестные леди и красное вино, пахнущее бордосской, самой реликтовой лозой?

На наш век хватит разведки, хотя в век телевизора, радио, факса, Интернета, нанотехнологий и пр. и пр. этот род человеческой деятельности больше удовлетворяет тщеславие (и карман) чиновников, а не служит интересам общества. Как смешны беготня по крышам с пистолетом в руке, возня с тайником в подъезде (уж простите, но родимые подъезды насквозь пропахли куревом и мочой, будучи постоянным прибежищем бомжей). Как нелепа встреча с тайным агентом в полночь в Булонском лесу или в турецкой бане рядом со Святой Софией. Как прекрасно сидеть у телевизора, смотреть шпионскую белиберду, дымить привычным "Орликом " и запивать аромат табачной смеси "Английская кожа" не менее изысканным "Эрл Греем", дарованным нам перестройкой…

Вы, конечно, понимаете, что я пытаюсь легко пародировать собственную позицию. На самом деле, настроение у меня отнюдь не столь благодушное, даже мрачное. Под фанфары перестройки не только произошло разрушение Советского Союза, что привело к обострению конфликтов, но и тихое продвижение НАТО на Восток, чего никто не ожидал во времена воссоединения Германии. Поглаживая Горбачева и Ельцина по либеральной шерстке, Запад медленно и искусно внедрился в сферы влияния Советского Союза и ловко там обосновался. Ваши правители, Генри, усиленно настраивают Украину и Грузию (на примете у них и другие бывшие соцреспублики) на конфронтацию с Россией. Ну а в сфере разведки царит полный бардак. На поверхности все тихо, или звенят заверения о мире и сотрудничестве (так бывало и во время "холодной войны"), в то же время на Западе постоянно публикуют секретные архивы, иногда их привозят совершенно спокойно русские экс-разведчики, получая за это солидный куш. Пенсионеры ЦРУ и СИС считают своим долгом копаться в московских архивах и открывать новые тайны. Уже выросла целая западная литература, построенная на советских секретах, Запад между тем и не собирается приоткрывать секреты даже пятидесятилетней давности…

Так что перестройка, как оказалось, затронула лишь нашу страну. Впрочем, иногда случаются кризисы, в которых тонем мы вместе и вместе спасаемся (или так только кажется?), и это обнадеживает и толкает нас на новые подвиги и глупости. Впрочем,

ничто не может повлиять на нашу дружбу. Искренне Ваш
Михаил Любимов



Глава первая, очень малоподвижная, ибо все увязло в гиннессах и молтах, а человеку грустно, и не хочется вылезать из бочки

То я смиренно не подъемлю глаз,
То вместе с бесами пускаюсь в пляс.

Григор Нарекаци

Пинта “Гиннесса”, помноженная на ностальгию и промозглость поздней осени, неизбежно ведет к незаметному сдвигу крыши.

Именно эта фигня и начинала накатываться на меня в знаменитом пабе “Шерлок Холмс”, что почти рядом с Трафальгарской площадью.

Устроившись на втором этаже, я рассеянно обозревал кабинет старого знакомца Холмса в вольтеровском кресле, с прямым “данхиллом” в лошадиной челюсти. Много лет назад, задолго до моего прямого попадания в лондонскую темницу, рядом с ним протирал штаны до тупости верный Уотсон (или Ватсон, как переводят толмачи, ненавидящие игривое округление губ и коитус языка с альвеолами). Ныне сей пафосный персонаж выпал из игры, видимо, после перехода ресторации в руки ветреных итальянцев, не шибко петривших в Конан Дойле и к тому же увязших в ремонте. На мое mot, не пришил ли Уотсона злобный профессор Мориарти, официант-макаронник лишь пожал плечами, вряд ли осознавая всю блестящую английскость этого персонажа. Весь ресторан был обклеен постерами и вырезками из газет на темы бравого Шерлока, фотографиями исполнителей в киношедеврах, цветами и прочей параферналией или, как говорят, тутти-фрутти.

Бросок в голубую мечту, смелая экстраполяция: бар им. тов. Алекса в Музее Монастырской Славы. Стены обклеены чемоданными бирками (как расцвечивают они элегантные samsonites!), авиа– и автобусными билетами до мест явок (включая необитаемые острова), снимками тайничков, обертками отельного мыла всех стран и народов (особенно хороши ароматные гондолки из венецианского отеля на Grand Canal, что недалеко от статуи кондотьера Коллеоне на коне с мощным задом). Заходит престарелый Маня и пускает запоздалую слезу (не повысил героя во время в должности, по этому поводу и вырос Мост Вздохов), молодые монахи делают стойку на бронзовый бюст Алекса и обещают делать с героя свои бесценные жизни…

Но полно, Фауст!

В глубине высился бар с царственным барменом, равнодушно взиравшим на люд, барахтающийся в пармезанах и соусе болонезе.

М-да, шумели войны, сотрясали мир землетрясения, бушевал СПИД, а паб стоял во всей своей распабной красе, правда, меню переполнили лазаньи-пейзане, каннеллони-каналетто и пиццы-уффици.

О, где вы, недожаренные мажоры с кровью в “Simpson”, что на Strand?

Глобализация вместе с фастфудом, тотальной говорильней по мобильникам (самое страшное – отвлекающая болтовня в общественном сортире) и остальными аксессуарами прогресса изрядно подорвали Альбион. Исчезли былые фавориты – рестораны “Прюнье” на

Сент-Джеймс и “Алекс де Франс” на Джермин-стрит, хорошо, что еще остались винная лавчонка “Berry Brothers & Rudd” и ресторан “Уилтоне”, где можно по-человечески пожрать (когда-то блистала там дуврская соль, поджаренная в хлебной крошке). Да и “Ритц” еще не превратился в бордель в цветном Ноттинг Хилле, где гуталиновые ямайцы с блестящими жирными боками гоняют за виски пенсионеров – белых официантов (от этого бывшие колониальные полковники выглядят еще занюханнее). Броские бутики с серыми куртками, последние вместе с кроссовками и бейсболками стали доминантой в туалете народных масс, – а в прежние времена даже на проституточью улицу в оных не выходили.

На всех углах афро-азиатские физии жарили свои шиш и прочие кебабы, ухмылялись и мысленно клали большой кердык на аборигенов. Поджаренное сваливали в пластмассовые коробки, все разлеталось в момент, раздиралось, пожиралось, исторгалось…

Душа вызывала из прошлого хотя бы один мышиный котелок или благородный зонт с бамбуковой ручкой, но… вокруг куртки, сигаретная вонища, пивные бутылки, салфетки в кетчупе, рваные газеты… Потом жратву перемалывали в офисе, обставленном в стиле high-tech, под писк пейджеров, пение сигнализации авто за окном, всхлипы мобильников, в холодящем свете неоновых ламп. [1]

Соседние три стола оккупировали волосатые итальяшки, их я возненавидел с тех пор, как почти рядом с римским собором Св. Петра (туда я шел на исповедь к одному из епископов) меня облепили вонючие детишки и сперли между делом кошелек. Напрасно я взывал к полиции и простым гражданам, последние проявляли живейшее любопытство, но никто не пошевелился, пся крев!

Ресторанные соседи громко галдели на своем тарабарском языке, хотя я бросал на них сдержанные, но испепеляющие взоры, призывавшие вести себя в рамках приличий. Но никто не обращал на это внимания, словно дело происходило во времена завоеваний Цезаря, когда местных жителей почитали за скотов.

С понятным намерением вымыть руки я ткнулся в туалет, но тот оказался наглухо закрытым. Пабликан, заметив мои робкие телодвижения (возможно, и бедрами), безмолвно протянул похожую на кочергу обувную ложку, к которой был привязан ключ. Ну и ну! С таким безобразием в свободной стране я до сих пор не сталкивался. Видимо, грозная масса туристов с раздутыми мочевыми пузырями вынудила начальство принять, как говорится, надлежащие меры. А ведь в былые времена тут бушевал либерализм, и хомо сапиенсы прямо бросались в сифилисный сортир, даже не подумав в оправдание заказать кружку пива.

Да и вообще не к лучшему изменился папаша Лондон. Модернистские уродства вроде стеклянных коробок [2] , “чертова колеса” для дураков [3] , обозревавших Лондон с птичьего полета (оно чем-то напоминало аналогичное сооружение в Парке культуры имени Буревестника), новые мосты, готовые вот-вот рухнуть в серые воды Темзы.

Все те же белесо-зеленые памятники великим, заслуженно обкаканные жирными голубями, которые по-прежнему бесчинствовали на Трафальгарской. С набережной просматривался тоскливый силуэт моста Тауэр (удивительно, что меня не посадили в тамошний каземат, где содержали любимого мною поэта, канцлера Уолтера Рэли, пока благополучно не отрубили ему голову). Ныне башня в Тауэре, где его морили, превратилась в музей, рядом бродили дохловатые вороны и декоративно-живописные бифитеры с алебардами.

Кто знает, вдруг наступят времена, когда и камера, где томился скромный Алекс Уилки, станет достопримечательностью, как стала ею вывезенная из Мекленбурга и установленная

на Темзе в Гринвиче грозная подлодка, в которой устроили ресторацию. Последнее было особенно обидно, хотя я давно пережил развал Мекленбурга, содеянный секретутом обкома губернии, перелицованной после Великой Мекленбургской Бучи в оную памяти Яшки, точнее Янкеля Аптекмана, первого председателя ВЦИК (забавно, словно кто-то цыкнул или сикнул).

Вот уже три дня я, говоря жутко высокопарным языком, жадно вдыхал воздух свободы и совершенно забыл, что был схвачен полицией на яхте и осужден самым гуманным в мире судом за убийство некоего беспачпортного бродяги с выдающейся челюстью. Свою вину я признал, правда, отрицал знакомство с жертвой, залезшим на мою яхту.

Попытки обвинителя пришить мне шпионские дела потерпели сокрушительное фиаско: свидетели отсутствовали, сам я молчал, как задумчивая вобла, и только пожимал плечами и делал бровки домиком на манер профурсетки. Хотя мое австралийское происхождение вызывало сомнение, обвинение не смогло раскрутить истинную версию: британские спецслужбы, боясь вляпаться в новое дерьмо (много его было в героической биографии мистера Уилки, аж выше головы), благоразумно умыли руки. В Мекленбурге, к счастью, не нашлось отчаянно светлой головы, которая организовала бы по всему миру демонстрации в мою защиту типа _свободу Анжеле Дэвис!”, что, бесспорно, привело бы к пересмотру дела и припайке мне лишних годков.

С добровольным уходом в отставку бывшего секретута Яшкиной губернии вокруг моей темницы в графстве Чешир, – не помню, какой по счету, – начались некие тайные шелесты и шепоты.

Начальник тюрьмы однажды призвал меня в свой кабинет и, улыбаясь аки Чеширский Кот, стал ласково расспрашивать о жизни, о самочувствии, о планах на случай амнистии, о желании создать тюремные мемуары, о претензиях и пожеланиях. Намек английский я усек, хотя и бровью не повел, немного помычал и сказал, что соскучился по кенгуру, коалам и особенно по яйцам страусов эму, которые я привык есть всмятку по утрам. Отсюда понятное желание покинуть столицу гордого Альбиона (тут я сделал страдальческую гримасу, обозначившую всю горечь отношения к стране, бросившую несчастного австралийца в темницу). Сказал, что мечтаю поселиться в тихом городке на берегу океана, заняться рыбной ловлей и даже, возможно, открыть уютный кабачок, украсив его сетями и фотографиями моих любимых австралийских писателей Питера Малуфа и Анны Гиббс. Их я, естественно, не читал, но прекрасно помнил свою легенду-биографию, в ней присутствовали эти, возможно, одаренные авторы, если, конечно, мои кураторы не вытянули эти фамилии из состава игроков австралийской хоккейной сборной.

В один прекрасный день я снова предстал перед начальником тюрьмы, у которого в кабинете сидел еще один типчик. Хотя никто его не представлял, я нюхом почувствовал представителя спецслужб (каких неизвестно), от них одинаково пованивает загадочной многозначительностью, да и морды у всех напряженно невинны, не зря они трудятся в благотворительных фондах. На этот раз начальничек меня ни о чем не расспрашивал, любезно улыбаясь, протянул мой старый паспорт (в свое время Монастырь разработал процесс его получения столь филигранно, что формально, несмотря на полный провал моей легенды, к нему невозможно было подкопаться – ведь он был выдан на основе абсолютно легального свидетельства о рождении), пересчитал и вернул в свое время изъятые фунты, чеки, что умасливало сердце и порождало мысли о счастливом будущем.

– А как в отношении моего остального имущества? – нагло вопросил я, знавший

английскую приверженность частной собственности – священной корове еще со времен Магны Карты. – Я хотел бы получить назад моего попугая! (Я где-то вычитал, что некоторые попугаи живут до ста лет.)

Оба прохиндея улыбнулись, а начальник заметил, что вся моя собственность будет мне возвращена законным путем по месту нового жительства. Он не шутил: ведь вернули же англичане беглому Киму Филби всю библиотеку и мебель, оплату доставки, правда, переложили на плечи самого великого шпиона. Интересно, жив ли мой какаду Чарли или подох в голодных муках после моего ареста? [4]

Стараясь скрыть потрясение внезапным освобождением, я взял деньги и паспорт и уже на следующий день гужевался в отеле “Амбассадорс” недалеко от Юстон-роуд (там меня поразила хохлацкая обслуга, сбежавшая с родины на заработки).

Первым делом я отправился в любимый мужской магазин “Остин Рид”, что на Риджент-стрит, и приобрел там пару твидовых пиджаков и фланелевых брюк, рубашек в модную клетку, разноцветных краватов, а заодно дюжину берлингтонских носков и туфли фирмы “Чер-чиз”, украшение любого почтенного сквайра. В “Селфри-джиз” на Оксфорд-стрит я влез в парфюмерный отдел и впился носом в пробные флаконы с таким остервенением, что вызвал ажиотаж у продавщиц, по-видимому, заподозривших во мне уличного ворюгу.

О, как изменился мир! Мои излюбленные парфюмы уступили место “Уго Боссу”, “Герлену” и “Жанфранко Ферре” (навернулись слезы при воспоминании об ушедшем в Лету “Шипре”). Голова уже помутилась от обилия запахов, и я остановился на туалетной воде “Плохие мальчики”, скорее всего, утехе педерастов, теперь уже почти полностью легализованных в свободных и процветающих странах.

…За окном было сумрачно и сыро – причина английского сплина, которым легко заразиться и иностранцу.

Что случится с мастерской мира и ее гордым Лондоном, если обрушить на них снега? Карл Генрихович делал ставку на рабочий класс, который, обнищав и озверев, сбросит с трона монархов, разгонит парламент, порежет всех овец, создаст хаос и построит в нем рай. Карлуша дал маху (одно извинение: он родился в Трире и до конца дней сохранил нежную привязанность к вину, а оно, как известно, в отличие от “Гленливета”, отяжеляет фантазию), пролетариат зажирел – тут бы и явиться на свет новому философу с новым откровением. А оно легко приходит на ум и не связано с пресловутой классовой борьбой. Обрушь, о небо, снежок на Лондон, закружи метель, поиграй буран, закрутите снега на Пикадилли и Риджент-стрит! И не надо мировой и иной революции, мгновенно остановятся автомобили и даблдеккеры, и замрет от перегрузки метро. Биржа тут же лопнет, цены на нефть сделают бензин недоступным, канализация прохудится, и улицы упьются желтыми экскрементами [5] . Снег, как мирное оружие революции, – вот великое изобретение гениального Алекса, муторно скучавшего в компании говорливых итальяшек, навинчивающих на вилки спагетти болонезе [6] .

Грянул двадцать первый век – хорошо это или плохо?

Утекающие минуты не сулят ничего хорошего в связи с утеканием, если не считать того, что идиоты называют опытом – обветшалый рюкзак с несбывшимися надеждами, глупостями и подлостями.

Позади лондонская тюрьма, относительно комфортабельная по меркам мекленбургского уголовника, всего лишь в нескольких милях от уютной квартирки Алекса у Хемстед-хита и грандиозной усыпальницы на Хайгейт, где сам Генрихович и маленькие Генриховичи – его

адепты – ведут свой подземный диспут по поводу неизбежно светлого будущего. Никогда я не работал над собой так усердно, как в тюрьме. По любым меркам получил сверхакадемическое образование, удивительно, что не призвали в Оксфорд для водружения шапочки и мантии. Даже ходил в созданный по просьбе тюремных меломанов кружок по изучению музыкальных творений Рихарда Вагнера.

Интенсивное самоусовершенствование на пути познания самого себя и всего вокруг, ночные бдения не над щелкоперами типа Тургенева или Фолкнера, а над исповедями святого Августина и над мекленбургскими религиозными философами, выметенными Учителем не только с Родины, но и из мозгов ее населения. Впрочем, углублению в колодцы собственной души весьма мешали внешние события. После потока смертей почтенных старцев на пирамиду власти взгромоздился только что выбранный, моложавый Самый-Самый, с кастрюлей недоваренных идей и невнятных реформ, и тут Отчизна начала выделывать такие сальто-мортале, от которых рябило в глазах.

Британское телевидение не скупилось на эфир для перестройки, и однажды я чуть не рухнул со стула, когда вдруг на экране появился душегуб из душегубов Бритая Голова, растянул рот в лучезарной улыбочке и долго вещал о правах человека, свободе и демократии. Потом на сцену вывалилось несколько настоятелей (как оказалось, тоже отцов свободы и душеспасителей), они смущались, мялись, перебирали копытцами, как выводок престарелых кабанов, и тоже долдонили, что Монастырь отныне друг народа, и они по этому случаю проводят день открытых дверей с показом заповедного кабинета почившего Самого, вершившего до этого судьбами Монастыря. Странно, что не притащили с собой образцово-показательные наручники, не натирающие кистей, набор витаминных ядов, излечивающих от завихрения мозгов, и заспиртованную голову какого-то диссидента с блаженной улыбкой на оледеневших устах [7] . Все аплодировали, а телеведущий раздал генералам значки, на которых в шутку было начертано “агент Монастыря”. От всего этого безумия у меня глаза полезли на лоб, особенно поразил Бритая Голова, напоминавший не карлика-тирана, который когда-то буравил Алекса своими глазенками, а доброго патриота, всю жизнь пролежавшего на ДОТе и защищавшего родину еще от татаро-монголов. Вдруг мелькнул “бобрик” шефа Монастыря Мани (он тоже метеором пер на повышение), очень душевно поведавшего о доблестях службы, любимой всем народом. Маня предпочел акцентировать внимание на доблестях агентов тридцатых годов (их в свое время беспощадно расстреляли), и я напрягся: вдруг уста его, сложившись в приличествующий моменту бантик, родят имя героя ранее невидимого фронта, прозябавшего перед телеэкраном в фешенебельной тюрьме Уормуд-скраббс.

Но Маня обратился к молодежи, всегда из романтических порывов обожавшей секретные службы, и похвастался, что и в нынешние нелегкие времена она рвется в службу косяками и прыгает регулярно с парашютом. Одна мысль о кружении в коварных облаках с повисанием на ветвях дуба, естественно, зацепившись задницей за самую острую ветку, навевала на меня траурный марш – фюнебр Шопена вкупе с еще более замогильным адажио Томазо Альбинони (эрудиция, почерпнутая в тюремном кружке, не пролетела буренкам под хвост). Книги выписывал даже из Британского музея (Учитель позавидовал бы, ему-то приходилось туда добираться на автобусе, порою зайцем, что вызывало неудовольствие его мымры Надьки), мог бы замахнуться на библиотеку Конгресса, но наглость тоже ценность и ее следует экономить.

И тут новая сенсация: президент (толстая Ряха, взошедшая на партийных хлебах в городе

Янкеля) помиловал всех заключенных в тюрьмах иностранных шпионов, и эти гады тут же выпорхнули на мекленбургские и международные телеэкраны. Они били себя в потасканные белые груди, разрывали бутафорские тельняшки, доказывая, что не вражеские шпионы, а честнейшие борцы за демократию, и посему должны быть причислены если не к лику святых, то к правозащитникам.

O tempore! O mores! Chert poberi, mat) tvoyu perematj!

Думал ли ты, Алекс, о таком?

Карамба, а вдруг и у твердокаменных англичан сожмется от жалости сердце, соберутся на Олд Бейли старички в белых париках до плеч и молвят: “Эй, Алекс Уилки! Ты свободен”.

Своего рода благородный жест в ответ на деяние Ряхи.

Ха-ха! Не надейся и не жди.

Западный мир беспощаден и уверен в своей правоте, и если видит, что перед ним дурак, готовый на капитуляцию просто так, из-за своей глупости, то становится жестче и гнуснее. Впрочем, кто же выпустит убийцу, который и не пытался отрицать своей вины? Дурака ты свалял, Алекс Уилки, что не признался в принадлежности к Монастырю, сейчас бы шпионская статья пришлась бы ко двору. Может быть, потребовать пересмотра дела? Бодрись, ситуайен Алекс! Еще какие-нибудь двадцать лет, и в цветущем возрасте восьмидесяти пяти и более лет ты выпорхнешь, как орленок, из темницы сырой на волю. И пройдешь молодцеватой походкой по Пикадилли с литрягой “Гленливета” в руке и с задастой девицей, повисшей на мускулистом плече, не тронутом ревматизмом. О, сладость первого поцелуя! О, водопады виски и тарелка свежесваренного хаша, а еще лучше требухи! И что такое восемьдесят пять лет, если в этом цветущем возрасте предстал в Лондоне дернувший с родины монастырский архивариус, неудачник и дерьмо. Лет десять копировал в архивах документы, выносил их в носках (представляю эти мокрые, провонявшие от страха носки!), закапывал в землю на даче, обливаясь потом. Потом выехал туристом в Вильнюс, переправился в Лондон, облагодетельствовал англичан и состряпал с профессором Оксфорда книгу. Старую задницу подняли на щит, раскопали долгожителей-агентов, покуражились и быстро забыли.

Так думал я в тюрьме, но случилось чудо.

…Я еще раз попросил у пабмена ключ от сакрального места, привел себя в порядок и уставился в туалетное зеркало. М-да, только тщательно вычерченный пробор напоминал о прежнем Алексе (увы, его уже давно изъела моль, высветив изрядную плешь), из глаз не струился неизбывный огонь. Фигура постепенно принимала тошнотворные похоронные черты, ревматизм и геморрой перекосили расшатанный фиакр, истончились ноги и руки, мышцы превратились в селедочные молоки. В не слишком отдаленной перспективе в кадре маячила живописная рухлядь с палочкой в трясущейся руке, отвращавшая, словно “Черный Квадрат” Малевича в писсуаре [8] .

Переулок, где затаился ветховатый “Шерлок Холмс”, был неожиданно пустынен. Правда, около подъезда дома напротив дефилировала дамочка в куртке и синем шарфе, довольно смазливая шлюшка, рассчитывающая на клиентов в дневное время. Неужели девицы расширили диапазон своего сервиса, забросили Сохо и промышляли даже в респектабельных местах близ адмирала Нельсона? С гордостью я отметил, что, несмотря на или благодаря длительному воздержанию, в моей груди (назовем это так) шевельнулась заветная эмоция [9] , что обнадеживало, и, выпрямив спину, я гусарским шагом вышел на Трафальгарскую площадь, развернулся и двинулся к любимой Пикадилли.

По Сент-Джеймс фланировали отнюдь не холеные джентльмены в котелках, а разгоряченные красные морды в куртках и старых пальтишках. Я остановился около винной лавки “Brothers Berry and Rudd”, где в свое время покупал ящиками лучшее бордо, это подняло пласты воспоминаний, хлынувших в мозги, словно все выпитое за прошедшие годы.

Поворот на Пикадилли прямо к отелю “Ритц”, вот-вот встречу принца Уэльского: “Добрый день, ваше высочество!” – “Рад видеть вас, сэр! Как сиделось?” – “Неплохо, благодарю, сэр. Вашими молитвами”. В предбаннике отеля серо от однотонных одеяний, ни седых бакенбардов, склонившихся над рюмкой порта, ни кринолиновых дам, мурлыкавших в веджвудские чашки. Навстречу вылетела иссохшая (и пересохшая даже для Англии) метрдотель женского рода, запахло партконференцией в клубе имени Несостоявшегося Ксендза – великомученика, с которого Поэт-Самоубийца призывал юношей делать житьё.

Я панически развернулся, словно по ошибке попал в женскую уборную, перешел на другую сторону Пикадилли, двинулся мимо Берлингтонской Арки (мои берлингтонские носки запели “Боже, спаси королеву”), миновал бесцветного Эроса, углубился внутрь когда-то бардачного Сохо. Затем спустился к Стрэнду, вышел на Флит-стрит (оттуда уже слиняли все газеты, переселившись в когда-то трущобный, а теперь небоскребный Докленд), и, предвкушая вечер в хорошем кабаке с негритянским стриптизом, прошагал до собора святого Павла.

В соборе шла заунывная служба, я занял место на скамейке среди прихожан отнюдь не из желания приобщиться к англиканству, а лишь потому, что от хождений у меня разболелась нога (игры остеохондроза, ваше благородие) [10] . После этого я заскочил в банк, открыл там счет, положив на него фунты, сохраненные пенитенциарным заведением, – не таскать же с собой деньги накануне гуляний в борделе!

Вывалившись из банка на улицу, я неожиданно узрел у витрины магазина напротив ту самую смазливую девицу, только в красном шарфе, а не в синем – вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Какое счастье, что мой профессиональный взгляд не утратил остроты, только идиот мог бы считать это совпадением. Явная наружка! Кому же понадобилось брать меня под колпак? Не скажу, что я шибко удивился, – с самого начала мое освобождение выглядело нереальным и загадочным, что ж, примем новые правила игры, сделаем вид, что ничего не приметили, распустим щеки, изображая благодушие, и продолжим наслаждаться свободой, пока не упекли в какие-нибудь другие хоромы.

Размышляя над новым поворотом событий, я заскочил в прославленный паб “Старый Чеширский сыр”, предварительно потоптавшись в дворике дома, где жил и пьянствовал прощелыга и болтун Самуэль Джонсон (между прочим, гордость английской литературы). Дамочка за мной не последовала, правда, вокруг толпилась группа туристов, среди которых наверняка топтался какой-нибудь сыч из наружки. В пабе я выпил эль на втором этаже, просмотрел свежую “Таймс” и снова выполз на Стрэнд. Мой наметанный взгляд сразу обнаружил дамочку в красном шарфе, рассматривающую уцененные колготки, выставленные на улицу. Она перебирала их так живо, словно уже давно ходила босиком, дрожа от холода и сочувственных взглядов прохожих. (Сразу вспомнилась мекленбургская баба времен Усов в голубых фильдеперсовых трусах почти до колен и чулках с потрепанными подвязками, кстати, в этом была своя прелесть, и ночь в коммунальной комнатушке с пердящей старухой за ширмой дышала духами и туманами.)

Кто же меня пасет?

Недолго раздумывая (интуиция всегда была козырной картой Алекса, хотя порой

действия рыцаря без должной медитации приводили к позорным фиаско), я перешел на другую сторону улицы и приблизился к магазину. Дамочка не удостоила меня взглядом (возможно, работало боковое зрение, развитое у самок), ее полные губки чуть приоткрылись от созерцания вакханалии колготок, она теребила их обеими руками, словно напрягшиеся фаллосы Приапов, и рассматривала фирменные наклейки, оттопырив задок, источавший флюиды любви.

– Я посоветовал бы вам лиловый цвет! – шепнул я, обжигая ей ухо постельным шепотом.

Она обернулась и блеснула мокроватыми зубами, ничуть не смутившись.

– Почему именно лиловые?

– Кажется, Теннисон писал о красоте фиалок на фоне корней засохшего дуба? [11]

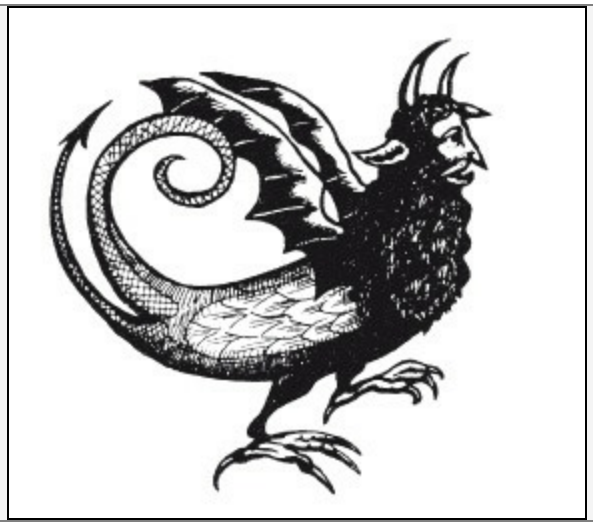
Девица явно не слышала ничего ни о Теннисоне, ни о Грандиссоне, это в нынешнем Мекленбурге, судя по прессе, в счастливые буржуазные времена на панель выходят докторицы наук, знающие в деталях, каким путем идет по Дублину вместе с Джойсом придурок Леопольд Блум и чем пахнет баранина у старины Конолли.

Она тупо перемалывала своей мясорубкой мою фразу, а я снял с крючка сиреневые колготки и оплатил их у продавщицы.

– Это мой скромный презент. Как писал слепец Мильтон, “Моя нежнейшая, моя недавно обретенная, мой дар небес, прими его, прими!” (Скажем прямо, это было архитектурным излишеством, но я слишком долго не выпускал пар знаний.) Скорее всего, это был не Мильтон, а мой блестящий экспромт, от которого глазенки у потаскухи забегали: с полным основанием она пришла к выводу, что имеет дело с психом, сбежавшим прямо из больницы Бетлхем, то бишь Вифлеем, именовавшейся в народе бедламом.

С другой стороны, сия реакция навела меня на мысль, что дамочка не имела никакого отношения к наружке, а занималась честным промыслом. Черт побери, я так отвык от общения с прекрасным полом, что вспотел и напоминал кретинистого старичка, из тех, кто любит подкатиться к случайной барышне, поговорить о погоде, рыгнуть ячменным зерном и благополучно отвалить.

– Могу я пригласить вас в паб на дринк? – Я решил выправить ситуацию и не ходить вокруг да около по литературным кущам.



Глава вторая о том, что жизнь не так уж прекрасна, когда не рыдают скрипки и не скрипят хоралы

Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверька,
Дразнить тебя придут.

Александр Пушкин

Не только лебеди поют свои лебединые песни, к этому склонны и страусы, постоянно зарывающие голову в песок, дабы не видеть баобабов. Сие, конечно, не есть очень удобно (горло забито песком), но тешит страусовое самолюбие и укрепляет страусиное самомнение. Особенно в тюрьме, где, в сущности, нечего делать, особенно в британской, слывущей цивилизованной (а потому еще более мерзкой). Солнце иногда, словно нехотя, залетает за решетку и крутится-моргает под потолком, даже не верится, что Земля вертится вокруг такой малости, и вообще, кто это решил? Какой-то Коперник Коперникович или Галилей Галилеевич за бутылкой фалернского или померанцевой, а может, какой-то безвестный монах вроде Алекса, которому тут же оглоблей раскроили череп, чтобы не открывал всемирные законы, а занимался своим шпионским делом.

Падет на голову яблочко, куда ты котишься, Ньютон вздрагивает и открывает, еще яблочко – трах на лысину, в Губчека попадешь, не воротишься…

По утрам выдающимся одиночкам подают брекфест, его приносит служитель в синей униформе на подносе: хлипкая овсяная кашка, увенчанная хлебными сосисками, их вид заставляет переосмыслить всю грешную жизнь и толкает на суицид. Через полчаса тот же тип забирает грязную посуду вместе с пластиковыми ножами и вилками (ненужная предусмотрительность, ибо даже такими изделиями при надлежащей сноровке можно легко продырявить себе кишки и выпустить всю овсянку на белый свет). Во время трапезы, наверное, противно шпынять в себя пластик и любоваться вылезающей из чрева кашей. И вообще зачем? Где гарантия, что в царстве Аида легче и комфортнее, и не запрещено предаваться сладостным воспоминаниям, купаться в деталях прошлого, более сочных, чем вся пролетевшая жизнь?

После завтрака наступает историческое событие, именуемое туалетом, достаточно таинственное и разнообразное, со стихами не соседствующее, временами грязноватое, временами почти сакральное. Затем прогулка, она значит не меньше для индивидуума, чем битва при Гастингсе для Вильгельма Завоевателя (сравнение тянет на Брокгауза и Эфрона). Прогулка по двору тюрьмы (между заключенными интервал не менее шести футов), за это время нужно вобрать в себя энергию для продолжения жизни, созерцая рожи камерадос по несчастью. Большинство симпатичны, как благословенный мистер Пиквик, и совсем не напоминают Джека Потрошителя, одни благообразнее, другие безобразнее, впрочем, ничуть не лучше и не хуже монахов Монастыря (да простят меня живые пенсионные и уже истлевшие кости, раскиданные по всему миру сообразно великому Бородатому Учению).

Тюремные власти не опускаются лишь до держатьнепущательства, они стимулируют творчество, берут пример с уважаемого маркиза де Сада в больнице Шерантон, исцелявшего

психов перфомансами, особливо известно оное по мотивам убийства злодея-революционера Марата пресловутой Шарлоттой Корде. Бывали и срывы: иногда Шарлотка-идиотка, уже порешив вождя в ванне, затевала все по второму кругу, мало ей было впечатлений от первой крови. Повторенье – мать ученья, клюквенный сок лился рекой, и это вводило в транс остальных актеров, жаждущих Варфоломеевской ночи. Тогда для усмирения звереющей труппы де Сад призывал санитаров, и они ласково применяли свою нехитрую терапию. Маркиз был на редкость жизнелюбив, пригрел на худосочной груди прекрасную толстозадую прачку, а потом и ее юную дочку, жил припеваючи в каморке, пожирал фазанов из рук собственного слуги, которого заодно тоже употреблял. Английские терапевты в нашем дворце однажды подготовили небольшой отрывок из “Короля Лира”, там отличился сумасшедший Том из Бедлама, скорее он притворялся подобно Гамлету и нес околесицу весьма многозначительную и даже эпатажную. Я хорошо запомнил песни и манеры юродивого, они созвучны были моей австралийской теме, которую не выносило на дух мое английское начальство. Я попросил роль шута хотя бы во втором составе, но мне отказали, опасаясь, видимо, что прямо в дурацком колпаке я выскочу на карниз, пролечу по нему аки Марго Фонтейн, взмахну крылышками и умчусь далеко-далеко, где синеют туманы и незабвенные очи несостоявшегося Ксендза и его соратников. Меня это особо не расстроило, ибо занимал я удобную точку среди зрителей: прямо напротив дамской restroom. Дверь была постоянно приоткрыта, и я обратил внимание, что мужчина (Корде) и гримерша (единственная дама, выписанная для спектакля из соседней тюряги) слишком часто туда бегают.

Это наблюдение не лишено тонкости, однако.

Но хочется беседы на уровне муравьиного шепота.

Стихи. Поэмы. Сонеты.

Стихи я писал всю жизнь в промежутках между монашескими обязанностями, писал самозабвенно и тут же бросал в огонь, дабы вороги не раскрыли душу в случае внезапного захвата и последующих пыток. В темнице я значительно усовершенствовал свое мастерство, овладел метафорами и ассоциациями, ассонансами и диссонансами (где-то вычитал об анжамбемане), впрочем, отличать ямб от хорея так и не научился.

Стихи заменяют мемуары.

Хотя это намного больше.

Это джаз жизни.

Страусовый хрип?

Страусиный рев?

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА АЛЛЕЕ

...

Как причудливо стасовалась колода!

Михаил Булгаков

Какая странная история: небо горит,
Словно спирт на прозрачном блюдце,
Подожженный спичкой.
О булыжники лицами мягкими бьются
И наступают на качающиеся фонари
Солнцем сожженные прохожие,

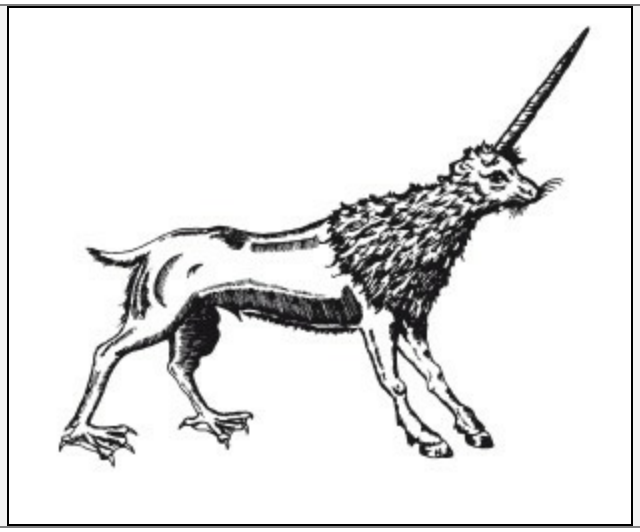
Спирта зажженного требуя
Как неба, в пасти свои…
Какая торжественность!
А хочется неслышно и божественно
Коснуться неуловимым жестом,
Как в страхе перед вечностью.
Хочется открыть электричество,
Превратить качество в количество,
Трагическое в комическое,
Формулу мозга вычислить.
Личность разложить на различные,
Единичные плюсы и минусы.
Дай Бог, все это подметить и
Все это вынести,
Путешествовать, записывать ночами,
Побывать в Сочи или в Сычуани,
Рассматривать со скамейки,
Расслабив конечности,
Проходящее как преходящее.
Думать, высвистывая,
Что есть “остановись, мгновенье!”
В отличие
От афоризма “Не ешьте несвежий продукт!”
Или “Не высовывайте голову из самолета
на ходу!”
Просто и для здоровья полезно.
Освежимся прессой.
Пока небо как спирт голубой.
Победа Карпова одна за другой.
Психи Корчной и Картер.
Наше спасенье – в голодной диете.
Трудящиеся пишут, что нет общественного
клозета
На границе с Абхазией.
Бессердечность и безобразие.
Осудить. Снять. Отправить виновников
на перевоспитание молодежи —
задача старшего поколения.
В Никарагуа волнения.
В Южной Африке гонения.
В Западной Европе падение
Курса и нравов.
И общественное мнение
Твердо выступает за соблюдение
Хельсинкского соглашения.

Хорошо было жить в каменном веке:
Ни книг, ни газет, ни атомного зуда.
Шьешь себе из шкуры шубу,
Вырываешь сам себе зубы.
Умираешь, не зная, что это – диабет,
Думаешь, что просто наступило время
И повелела судьба.
Такие, брат, дела.
В общем, достаточно гнусное настроение.
Переломим. Переиначим.
Превратим в кошмар.
Например, хватил тебя удар,
И подруга жизни хохочет у ложа
И строит рожи.
Как это?
_Королева играла в старом замке Шопена
И, внимая Шопену, полюбил ее паж”…
Строит рожи и плюет чем-то тошным
В твою отвисшую.
Блестящая перспектива
Для созерцающих с философской вышки.
Вообще жизнь устроена неверно.
Надо обратить и обработать время.
Начинать со смерти и кончать рожденьем.
От склероза – к полному отсутствию извилин,
От старости – к детству!
Заметьте,
Сколько оптимизма в этой концепции:
С каждым годом здоровеет организм,
С каждым годом уменьшается скептицизм
И резвыми темпами нарастает потенция.
Становишься все меньше – и вот уже маленький.
И младшую дочь называешь “мама”.
Собираешь марки,
И тебя подсаживают на велосипедную раму.
Еще немного – и кричишь “уа-уа”,
Понятия не имеешь ни о каком Никарагуа,
Где волнения, падение, общественное мнение.
Скрываешься где-то между ног —
Тоже ведь смерть, но только наоборот.
Превращаешься в блуждающий сперматозоид,
Распадаешься на части.
И с этого конца пустота как назло,
И тут она, царица-случайность.
Хорошо, если был бы дьявол или Бог,

Антимир, или, по-простому, ад или рай.
А так почему-то очень холодно,
Хотя солнце горит, даже жара.
Чтобы пройти над морем,
Сгинув в небытии кротко И без зла,
Почести получив по сану.
“В белом плаще с кровавым подбоем,
Шаркающей кавалерийской походкой,
Четырнадцатого числа Весеннего месяца нисана…”
Ах, поэты,
Все вас тянет в какофонию,
В идиотские потоки сознания.
Неуместная ирония, неумелое отражение
Волнения, потрясения, падения
Общественного мнения.
Где нить рассказа?
Начинается с бухты-барахты,
С претензии на философское размышление.
Лажа.
Ни хрена тут нет.
Пахнет обыкновенным плагиатом.
Дайте сюжет,
Как в “Дайте мужа Анне Закеа!”.
Что хочет сказать автор?
…А автор хочет вам сказать,
Что любит пиво и сосиски.
…А автор хочет вам сказать
То, что ему на вас начхать.
…А автор хочет вам сказать,
Что по заплеванной аллее
Оленем грустным он шагал,
Реальность густо отражал,
Вернее, отражать пытался.
Но как наш автор ни старался,
Ее, увы, не отразил.
До хрипа трубку он курил
И до видений напивался.
Сидел на лавочке, дымя,
И думал, как убить себя.
Он мыслил плоско, трафаретно:
Ведь скоро минет пятьдесят…
Поэты все в аду горят,
А те, кто живы, – не поэты!
Ногами влажными, босыми
Он грязь месил и всласть вонял.

Поэты все в аду горят, – звенело хрупко.
Воздух, синий От подгоревших шашлыков,
На важность сплющенных мозгов
Давил несокрушимым сплином,
Как англичане говорят.
Поэты все в аду горят,
В плащах, залитых стеарином,
Сгибаясь над листом в ночи.
Горят, как зарево, плащи.
Так думал я. А на аллее
Уже шуршали и шумели,
Гремела музыка в саду.
Пьянящий аромат “Шанели”,
Буфет, шампанское во льду.
Так думал я. А с высоты
Уже кружилось и звенело:
За музыкою только дело.
Итак, не выбирай пути,
Почти бесплотность предпочти
Тому, что слишком плоть и тело.
Твое томление знакомо.
Вся эта нервность – как саркома.
Тасуй тяжелую колоду,
Пока не ляжет туз коронный,
И в знак любви кинжал каленый
Давай надломим на колене,
Кинжал единого каленья
Давай надломим на колене.
И если строго между нами,
Меж ангелами и волками,
Мечтаешь ты, что туз коронный
Падет, как камень, из колоды.
Твой козырной, твой друг заветный…
А что твой туз? Прыжок карьерный?
Поэмка с запахом горелым?
Вино в бокале запотелом?
Слова каленые, литые,
Слова лихие и святые,
И почерк вроде бы корявый,
И прочерк вроде бы кровавый,
И надо всем – смешок лукавый,
Смычок, оживший под руками,
Сверчок, зацокавший в камине.
Снежок во рту (ах, вкус полынный).
Смешок лукавый, наважденье…

Уйди, остановись мгновенье!
Это стихотворение —
Фотографическое воспроизведение
Настроений, развлечений
И прочих явлений
У автора на аллее.
Откровений и прозрений,
Достойных презренья
Или восхваленья
В зависимости от пищеваренья
Читательского гения.
Главное, что ничего не случилось.
Никто никого не убил.
Ничего не увели И никому не набили морду.
Была отменная погода.
Автор, касаясь (представляете?)
Ногами земли, проходил по аллее,
Почесываясь, шаркая и шамкая,
Жар-птичек не находя ни шиша
Потому что старый и плешивый.
Под собственный туш,
Несколько вшивый, правда, и фальшивый,
Отразился от этого события домой.
Принял душ.
Еще раз отразился в ванне,
Тая и утопая от умиления.
Все это происходило зимой.
В летний зной.
На Северном полюсе. В Таджикистане.
В зоне всемирного тяготения.



Глава третья, в которой снова о тюряге, где дни мои блаженные текли

> “Прошу вас лишь припомнить, что, согласно Пифагорову учению, душа может переходить не только от человека к человеку или же скоту, но равномерно и к растениям, ради того не удивляйтесь, находя одну душу в императоре, в почтовой лошади и в бесчувственном грибе…"

Джон Донн

…Я тоже всем в жизни обязан книгам, до которых дорвался в тюрьме. В конечном итоге это только обострило мои страдания: новая мысль переваривалась с трудом и порождала проблемы. Я постоянно углублялся в историю, мифы и сплетни разных Болтунов Болтуновичей вроде Плутарха, менял религию за религией, философию за философией, изучил всех языческих богов, разве это не пытка?

Что может быть прекраснее tabula rasa? Обнаженность и незащищенность ума – это и есть высшая и непререкаемая Истина. И не надо выписывать премудрости и стараться их запомнить. Например, “Для человека, как и для цветка, зверя или птицы, наивысший триумф – быть абсолютно и безупречно живым”. Не потрясает?

Тянуло к чернильнице.

“Ногоуважаемый господин комиссар.

Добровольно, в не совсем трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. Сам частица мирового уродства, – я не вижу смысла его обвинять. Добавлю также слова, сказанные якобы графом Львом Толстым после вступления в брачные отношения: “Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью”. Кто сие написал выскочило из, но явственно помню, что Толстой, переспав после свадьбы с Софьей Андреевной, именно подобные слова о прекрасности соития и произнес. С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но, – опять перехожу на австралийский язык – это вашего высоко-подбородия не кусается”.

Что случится с человечеством, если будет доказана обреченность коитуса, не начнутся ли массовые самоубийства?

Судьба, как ни странно, пронесла меня мимо зоны в родных пенатах, возможно, порядки там и либеральнее, чем в бывшей мастерской мира, но нашего брата братва расположена придушить лишь за принадлежность. Темница в альбионских краях меня сначала просто очаровала, и не столько общей организованностью, сколько нежным отношением товарищей по несчастью. Гласность в тюрьме превзошла границы самого демократического устройства, о моем процессе знали даже свихнувшиеся детоубийцы, не открывавшие букваря, и моя известность могла соперничать разве что с Микки Маусом. Стражи порядка тайно брали у меня автографы, выказывали уважение и любовь и уверяли, что почитают за честь охранять Великого Шпиона (сие я насмешливо отрицал, хотя внутренне млел). На коллективных прогулках им приходилось отгонять от меня остальных зеков, готовых носить меня на руках, одновременно засыпая вопросами о самых потаенных сторонах жизни Монастыря и о моей легендарной биографии, точнее, легенде, которую я выдавал на-гора. Меня даже возжелали

выдвинуть в парламент, и только австралийское происхождение и ряд положений прецедентного права охладили пыл моих почитателей. На первых порах я ощущал себя героем, подобным Гераклу, всем улыбался и со всеми раскланивался, словно только что удачно исполнил партию лебедя в известном балете и принимал букеты на сцене. О, если бы Маня или Бритая Голова представляли всю звучность моей славы! Они наверняка бы сорвали погоны со своих величественных плеч и окунулись бы в водоворот славы, которая сладостнее даже бессмертия. И это после зажатой в тиски конспирации жизни, когда приходилось согласовывать и с собой, и с начальством каждый пук, ползти по своей второй жизни, как по минному полю, опасаясь любой небрежности и случайности, подстерегающей у каждого куста.

Но и звон фанфар надоедает: через несколько месяцев я к этому привык и даже заскучал. И начала грызть мысль (в свое время она обуревала и бессмертного певца топора, и самого Учителя): что делать?

Иллюзия побега меня не грела, шансов практически не было, да и поймать меня не составило бы большого труда. А почему бы не направить энергию на самоусовершенствование, столь ценимое самим графом Лёвой (его я уважал за то, что он вовремя бросил сочинять художественные фантазии и ударился в философию, не говоря уже о дерзком бегстве из душных семейных объятий к одинокой смерти на железнодорожной станции). Условий для этого было не меньше, чем в мекленбургском дворце бойскаутов с бесчисленными кружками самодеятельности, более того, предоставлялись услуги библиотеки Британского музея и других менее значительных заведений, и я мог пить из кладезя знаний до полного захлеба, предварительно проработав каталоги и оформив подписку. Однако это привлекательное и полезное для души занятие растянулось бы на многие годы, посему я остановился на давнем желании, несложным по воплощению, но лелеемом с детства: почему бы не научиться играть на гитаре?

Любовь к ней заронил еще отец, когда мы жили не тужили в подчиненном ему санатории, на диких степях Мекленбурга, где золото роют в горах. Папа обожал романсы, особенно “на креслах в комнате белеют ваши блузки, вот день ушел, а вас все нет и нет, в углу сидит ваш попугай Флобер, он все кричит «жаме! жаме! люблю!» – и плачет по-французски”. Или об охотнике и чайке: “Но выстрел раздался, нет чайки прелестной! Она умерла, трепеща в камышах”. Отец почему-то грассировал на слове “прелестной”, как будто имел дворянское воспитание.

Мое желание научиться играть на гитаре привело тюремное начальство в трехдневное смятение (очевидно, совещались, не использую ли я гитару в качестве радиопередатчика или не удушу ли себя струнами), затем мне предложили учителя из какого-то музыкального заведения, возможно, даже консерватории. Хотя композиторами Альбион не славится, музыка здесь пользуется всеобщим почитанием (полагаю, что если для чтения требуются мозги и способность сводить воедино буквы и целые фразы, то меломану можно лишь прищуривать глаза, блаженно кивать головой и создавать впечатление колоссального наслаждения).

Преподавателя я отверг и попросил гитару и обыкновенный самоучитель. Последний искали долго, будто на острове фарисеев осваивают инструменты только с преподавателем, к тому же самоучитель был на немецком языке, что, впрочем, не помешало мне вскоре играть со скорбной миной простейшую фугу Баха, приложенную в качестве образца для упражнений (самоучитель наверняка составляли идиоты).

Так вообразил я себя Шильонским узником, загадочным менестрелем, грустным мейстерзингером и миннезингером, Розенкранцем и Гильдерштерном, акыном и бардом, этаким Джамбулом – Абаем – Берды – Перды – Белиберды – Кербабаевым.

Надоели герои и роботы,
Лупит в бубен оглохший шаман.
В голове – словно ухнул мне в голову
Озверевший свинцовый жакан.
Заржавейте, шикарные пушки
И нейтронных снарядов запас.
Пускай девушки в юбочках узких
Вечно любят и мучают нас.
Чтобы солнце сожгло преисподнюю,
Чтобы нежностью мир зацветал,
Чтоб твой шепот, как голос Господень,
Меня тихо от смерти спасал.

Временами нападала на меня жажда деятельности, видимо, бренчание на гитаре стимулировало затаившиеся инстинкты: мне не хватало ощущения гвоздя в заднице, когда крутишь на машине и за каждым кустом видишь горящие, волчьи глаза лисы-наруженции. Оглушительным воем разражалась морзянка – призывный пляс валькирий Рихарда Вагнера (а Зигфрид все умывался и умывался кровью дракона). Я в ужасе просыпался, видел перед собой озлобленную бабью морду Мани и еле удерживался от стойки “смирно”. Самые тревожные сны были связаны с поиском тайников. Все напоминало пресловутую “Алису в Стране чудес”: я проваливался в кроличью нору и рыскал по подземным лабиринтам, беспрестанно совал руку в дупла полусгнивших деревьев (а там меня жалили змеи или кусали одичавшие кошки). Переворачивал и осматривал камни-контейнеры и даже вырывал перья у павлинов (там по идее тоже таились тайнописные депеши в микроточках). Порой я встречался то с Белым Кроликом, то с Мартовским Зайцем, то с Красной Королевой, и они вели себя, как вражеские агенты, расставлявшие мне ловушки (обычно простейшие деревянные мышеловки, которые я встречал лишь в захолустных сельпо близ Мельбурна).

На какое-то время Мекленбург совершенно исчез из моей жизни, иногда казалось, что я там никогда и не бывал, и жену с сыном придумали в отделе кадров Монастыря в качестве удобной легенды. Зато лондонский Хемстед снился назойливо, по-видимому, сказывалась близость тюрьмы к этому приюту Констебля, Китса и Ле Карре, – все, замечу, Джоны, видно, в Хемстеде выдают разрешение на проживание в основном обладателям этого имени.

Снился он совсем не таким, каким видел его обычно мирный сквайр.

Поясним эту сложную мысль.

Прихотливый шпионский глаз изучает совсем не те детали пейзажа, что обыкновенный ситуайен. Образно говоря, глядя на изваяние Родена, шпион не исходит гормонами, а анализирует, синтезирует и обобщает, изучая объект разработки на предмет, да, да, на предмет вербовки. Глаз маниакально уперся в шедевр, славу и гордость галереи Тейт, но не изысканность линий Анри Руссо тревожит его, мучит героя мысль, возможно ли прикрепить к массивной раме, окаймляющей шедевр, маленькую штучку Сей предмет именуется в

монашеских кругах контейнером, там может таиться и микропленка, и чертеж сверхзвукового штурмовика, и даже открыточка с изображением Маты Хари, где запрятан приказ шефа.

Шпион любуется Лондоном, но не видит его, он стоит у Вестминстерского дворца и смотрит в глаза грозному Оливеру Кромвелю, бывшему иомену и лорду-протектору Англии. Смотрит, но не видит. Не жестокость величайшего пуританина волнует его, а всего лишь тривиальная мысль: не запрятана ли в очах тирана камера видеонаблюдения.

А зачем это крошка Алик, словно спятив, елозит задницей по газонам Гайд-парка, иногда переворачиваясь на живот? Умеют-таки люди непосредственно наслаждаться жизнью, не протирая фраки в “Ройал Альберт-холле” на симфонии никому не интересного Бриттена! Нет, ошибаетесь, это виртуозно работает наш славный шпион, фиксируя камерой (она в пуговице его панталон) двух молодых людей, спешившихся с велосипедов. Одновременно он втыкает в газон хитроумный штырь для измерения радиоактивности местности (везде, черт побери, даже в Кенсингтонском дворце, ядерные реакторы, военные базы и испытательные полигоны!).

Святой Мартин-на-Холмах или Святой Павел-не-на-Холмах вызывают восхищение, там торжественно и строго поет хор, великолепно заглушающий беседу двух шпионского вида особ у каменного креста, который целовал еще преподобный Джон Донн.

В районе Челси хороши не только королевский госпиталь для инвалидов, цветочные экспозиции и театр “Ройал Корт” на Слоун-сквер, там потрясающи скрещенья улиц и переулков с удобными пабами на перекрестках (не для бездумного поглощения пива, а для контрнаблюдения за пролетающим автомобилем с агентом).

Такие вот мыслишки о городе и деревне.

ЛОНДОНСКИЙ НОКТЮРН

...

Увы, увы!
Рождаются и умирают люди,
И не сносить нам тоже головы,
А посему давайте жить мы будем,
Как будто умерли уже.

Эзра Паунд

Парк, вычерченный четко, как чертеж,
Чернел, укрывшись под чадрою ливня.
И лилии вытягивались в линии,
И в сердце перекатывалась дрожь.
Как грустно мне под фонарями газовыми
Всю эту сырь своим теплом забрасывать,
И безнадежно чокнутым опоссумом
Глядеть на догорающий камин.
Не пахнут для меня цветы газонные,
Не привлекают леди невесомые,

И джентльмены, гордые и сонные,
Меня вогнали в англо-русский сплин.
И я уже фунты тайком считаю,
Лью сливки в чай, и в нем души не чаю,
И я уже по-аглицки скучаю,
Лениво добавляю в виски лед…
Сиамский кот в ногах разлегся барином,
И шелестит в руках газета “Гардиан”,
И хочется взять зонтик продырявленный
И в клуб брести, как прогоревший лорд.
Но угли вспыхнут и замрут растерянно,
О, Боже, как душа моя рассеянна!
С ума сойти от этого огня!
В нем золотые льдинки загораются,
В нем бесы вьются и века сбиваются,
И стынет в пепле молодость моя!

Местная тюремная библиотека, явно рассчитанная на придурков, содержала одиозные пейпербеки уголовно-детективного жанра и некоторые приторно слащавые бестселлеры типа “Унесенные ветром” Митчелл и “Сердца трех” более приличного Джека Лондона. Сначала я набросился на “Камасутру”, но вовремя остановился, ибо однажды ночью тюремные стены приняли вид огромных девственных плев (не путать с символами города Плевны), они, словно замерзшие водопады, живописно свисали до самого пола. Посему я включил свой коммонсенс и решил посвятить себя поэзии, – вдруг на воле я предамся занятиям литературного критика, возможно, более затейливого, чем пресловутый Менкен (или Раскин, или Ренкин, не помню точно). Неожиданно я врубился в модерниста Эзру Паунда, мне нравилось, что понять его почти невозможно (только с латинским или итальянским словарем), таким образом, мысль лилась плавно и замедленно, и это доставляло несказанное удовольствие – так притягательно и доступно пузырится шампанское, если в него добавить пива.

Эзра начал писать очень рано, вел себя вызывающе, носил широкополую шляпу (как Уитмен) и ротанговую трость (как Уистлер). Однажды у него в доме обнаружилась актриса-бродяжка, достаточный для лицемеров американцев повод, чтобы выслать поэта в Европу. В те времена весь цвет мира пребывал в Париже, там Паунд сблизился с Т.С. Элиотом, Джойсом и Хемингуэем, потом пришло его увлечение Италией и особенно Венецией. Он проникся идеями фашизма, прославлял Муссолини, писал восторженные письма Адольфу Гитлеру, выступал с панегириками Петэну, Лавалю, Квислингу. С началом Второй мировой регулярно выступал по радио, проповедуя фашизм, Рузвельта называл не иначе, как Рузвельтштейном, евреев ненавидел лютой ненавистью, хотя со многими, как, например, с английским скульптором Джэкобом Эпстайном, многие годы дружил. Жил, как правило, с несколькими любовницами (не забывая и жену), временами лежал в психиатрической больнице, очень прилично выпивал. Американский суд вынес ему суровый приговор за государственную измену, но от тюрьмы его избавили врачи, определив в больницу Святой Елизаветы, где он пописывал свои канцоны в то время, как мировая общественность (тот же

Хемингуэй и разные идеалисты) требовала его освобождения. Почил он в возрасте восьмидесяти семи лет и был похоронен на венецианском кладбище Сан-Микеле (сказочный островок, тут облюбовал себе местечко и нобелевец Иосиф Бродский).

Перверсии, оказалось, только удлиняют жизнь…

Зависть мучит меня: уже не выпить со стариком Хемом, тоже облачившись в свитер с “горлом”, и целая проблема подобрать место в перегруженном трупиками Сан-Микеле…

…А Эзра бормотал красиво
О том, что жизнь – пленительный мираж,
И сгинет все, что ветрено и лживо,
И шар благословенный наш,
Как колобок, под джаз нью-орлеанский
Покатится, гонимый суетой,
Туда, где век другой, и Бог другой.
И это описать…
Ах, Паунд, пошлите лучше за шампанским!
Ужели нам писать, не изменив
Печальных правил общего устройства?
Ужели счастье в прелести чернил?

В прелести чернил одно несчастье, что может быть и счастьем.

Взлет личности случаен и необоснован.

Сицилийский Робин Гуд по имени Сальвадоре Джулиано вошел в историю острова как величайший мафиози, и книги о его подвигах продавались даже на ж/д станциях.

Истории о докторе Фаусте создавались бродячими театральными труппами и кукольниками. Вот что написано на стенах гостиницы в Вюртемберге: “Один из самых могущественных демонов – Мефистофель, которого он при жизни называл шурином, – сломал ему (that is to say, Фаусту) шею по истечении договора, длившегося двадцать четыре года, и обрек его душу на вечное проклятие”.

Байрон был кумиром эпохи и любителем кровосмесительства, пировал с друзьями и подругами, после ужина обносил всех вином из черепа, оправленного в золото. Когда же все расходились спать, он садился и писал до рассвета стихи.

В мастерской Боммера и Бассанжа собрали изумительное ожерелье из шестисот сорока семи сверкающих бриллиантов, многие из которых величиной с вишню, были помещены в золотую оправу, дабы соответствовать вкусам мадам дю Бари, фаворитки французского короля Людовика XV.

В письме очевидца болезни Декарта Йохана ван Вуллена голландскому коллеге дано такое заключение: “В течение первых двух дней он пребывал в глубоком сне. Он ничего не принимал: ни еды, ни питья, ни лекарств. На третий и четвертый день он стал страдать бессонницей и впал в сильное беспокойство, также без еды и лекарств. Когда миновали пятые и шестые сутки, он стал жаловаться на головокружение и внутреннее жжение. На восьмой день – икота и черная рвота”.

В фолианте “Великие тайны прошлого”, изданном пресловутой “Reader’s Digest”, перечислено множество самых известных событий.

Нет необходимости ни заканчивать с похвальной грамотой школу, ни быть обласканным стариком Державиным, который заметил и в гроб сходя, ни штудировать Библию, – в любом обществе вы – гроза эрудитов, победитель всех викторин и спаситель нуждающихся в подсказке. Собственно, эта книга и составляла мой первый Кладезь Чудес, а вторым был уж совсем никому не известный хлам-с из Санкт-Петербурга, что в Московии, куда не заносила меня судьба. Именовалась она “Козлиная песнь”, а автор носил шикарную фамилию Вагинов (это в наши времена по всем европейским столицам ставят пьесу “Я – вагина”, а тогда это слово находилось под строжайшим запретом, как контрреволюционное). Истинная фамилия его Константин Константинович Вагенгейм, не еврей, а из давно обрусевших немцев, папаша – жандармский подполковник, мать – домовладелица. Ну а козлиная песнь не суть завывание козла на радость всего народа, а по-гречески означает “трагедия”. Прелесть же этого полузабытого романа состоит в том, что почти любая строчка из него подобна букету свежесрезанных синих роз.

Тут бы сейчас освежить текст какой-нибудь знойной поэзой, но загремел засов и в камере появился мой куратор в синей униформе. Дело в том, что уже два дня я жаловался на зубную боль, делал это деликатно, не выл и не визжал, зная, что в тюрьме существует зубоврачебный кабинет (при должной сметке вполне реально было устроить подобие камеры пыток и втыкать в десны раскаленные иглы, это nota bene для грядущих поколений следователей).

Тюремный доктор, чуть подванивающий старостью, бородатенький, в роговых очках, усадил меня в кресло. Я пристально разглядывал его глаз, увеличенный до нереальности и плавающий за стеклом, как странная рыба в мутноватом аквариуме. Очки увеличивали, как микроскоп, глаз торчал неподвижно, как маяк в мерцающем море, не дергался и не моргал, и даже зрачок не передвигался вслед за инструментом, уже нащупавшим источник моих не слишком болезненных страданий. Иногда глаз превращался в загадочное женское око, и тогда я отвлекался и погружался в тепло.

Такой же маяк болтался при входе в мексиканскую бухту N.N., куда вполз нью-йоркский пароходишко, на котором, кроме скромного Алекса, гужевалось человек пятьдесят здоровенных техасских мужей, прибывших оторваться в объятиях местных креолок и иногородних Дюймовочек. Как это американские жены не раскусили эту забаву своих половин? Неужели дело в природной тупости, особенно заметной в южных штатах еще со времен неистребимой приверженности рабовладению? Особую страсть вызывал Канкун, где в тавернах по дешевке подавали голубых омаров и у моря, словно дворцы, стояли подряд молл за моллом, забитые безвкусными, совершенно одинаковыми безделушками в стиле майя, съеденных сначала испанцами, а потом уже докушанных англосаксонскими плутократами.

Причалил я в самое веселое время – День Поминовения Усопших, когда покойнички забивают все улицы и переулки и лезут челомковаться прямо в баре. В каждой витрине стоят портреты отлетевших родственников, горят-полыхают заупокойные свечи, пляшут на ниточках веселые скелеты и сами катятся в рот сахарные черепа со вставленными в глазницы зелеными цукатами. В богатых магазинах старушка Смерть, этакая Белая Девуленька с толстыми ляжками, расхаживает в белом платье и сомбреро, напяленном прямо на череп, и я пару раз удостоился нежных поцелуев (правда, каждый раз в животишке тонко запевали скрипки). Вылитая Дева Мария (или Святая Гваделупа), символ чистоты и невинности, чувственная, остроумная (уколола острием косы в бедро), и вокруг кружатся и пляшут

грешники с ее изображением на медальонах, кулонах, футболках…

“Господь дает душам возможность развеяться, ведь в раю не очень повеселишься”, – молвила дама в зеленом пончо, и я подумал, что перед этим шоу неплохо пропускать веселящихся через пыточные камеры с раскаленными железными щипцами и клещами, ручными пилами, которыми распиливали клиентов, подвесив вверх ногами на крюк. Груши с шипами вставляют в тело и постоянно увеличивают в размерах, раздирая плоть, впрочем, для туристов в лондонском Тауэре устраивают живое представление: заковывают в кандалы или подвешивают на игрушечную дыбу.

Мораль: после пыток жизнь всегда представляется прекрасной.

Я смотрел в дантов глаз и вспоминал, как вышагивал по Мехико-Сити, где постоянно дергают за рукав, уговаривая почистить ботинки (хотя они блестят, как пляж на солнце в Акапулько), и суют в морду гитару вместе с несъедобными буритто, с которыми по вредности может сравниться только гамбургер.

Великие муралисты Ривера, Сикейрос и Ороско мечтали создать искусство на стенах, чтобы ему радовались не богатеи в музеях, а широкие народные массы. Украшали фресками дома, задевая небо, пока вдруг умники не осознали, что солнце палит нещадно, а дождь смывает краски… И лопнула Идея, и пришлось все фрески убирать в помещения, и все стало на свое место, и Мечта сдалась перед напором беспощадной Жизни.

Так и создатели фастфуда не думали о вредности этого продукта, и погибнет он, истребленный колесами Времени.

Что я пишу? Мемуары? Эссе? В стиле Ортеги-и-Гассета?

Немного текилы, ее, проклятую, изготовляют из агавы, поразительно, но из нее же делают и нитки, которыми шьют юбки и костюмы.

Это уже Эль-Пасо, симпатичный городишко. Это было у моря, где лазурная пена. И жители похожи на актеров между спектаклями, не успевшими переодеться.

В такой атмосфере приятно раствориться в нетрудовой массе и заняться чем-то конструктивным, как то накручивание легенды, что, по сути, напоминает создание многотомной эпопеи из собственной фиктивной жизни: “Джимми Паркинс, местный торговец обуви, люблю этот бар за бесплатный бильярд, да еще хозяин подносит пиво и не приходится отрываться от кия”. – “А где ваш магазин?” – “Да рядом, на Фрейзер-стрит”. Вот и ляжет в роман о самом себе пассажик о неприхотливой жизни в Эль-Пасо, где купил туфли в лавке на Фрейзер-стрит, а потом рванул с хозяином по текиле и сыграл с ним, Джимми Паркинсом, партию в бильярд. Или какой-нибудь эльпасовский бродяга набормочет о своем предке родом из Толедо, где тот жил рядом с небезызвестным Эль Греко, а из Толедо рванул в конквистадоры, а потом очищал Мексику от ацтеков и майя. Вот и родился пассаж в биографии монаха: чистил ботинки у нищего миляги, бубнившего все время о предке – конквистадоре и орденоносце, который выпивал с Эль Греко в Толедо, а потом бился с индейцами в Мексике, не жалея скальпа.

Удел монаха, леди и джентльмены. Задачи партии и правительства.

С годами накрученные легенды перемешиваются с вымыслом в малохольной голове и полностью теряют признаки жизни, хотя ты сам начинаешь в них искренне верить. И горло готов перегрызть тому, кто утверждает, что в Эль-Пасо ты никогда не бывал, хотя и слышал о существовании этого славного города и видел его вигвамы в образах бердичевского постмодерна на почве перехлеста скотча.

Дантов глаз отражает захватывающие секунды славной быстротекущей жизни.

Домашний замок, нависший над берегом моря, чуть ли не касающийся его волн своими винными подвалами. Тропка вниз между каменьев и глыб, деревянная лестница для купания и спасательный круг, который уже не спасет.

Бедуин, уговаривающий за сто баксов подняться на ишаке на гору Моисея, там и встретить рассвет, а потом на том же ишаке спуститься в монастырь святой Катерины, вновь лицезреть Неопалимую Купину. А заодно и наскального тельца в память о заблуждениях евреев, чересчур возлюбивших злато, что заставило возмущенного Моисея разбить на куски божественные скрижали.

Жизнь продолжается.

Аккуратно высаженные вишневые деревца (до середины ствола выкрашены белой краской), черный кот на зеленом ковре в ошейнике, защищающем от клещей. Впереди весна, и вспыхнет белый цвет на деревьях, потом медленно начнут наливаться бордовым вином вишни, и стукнет ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не алкаши, жуки и тараканы.

Жизнь продолжается.

На острове Мадейра жутко злой океан, грозящий закрутить щепку тела и обрушить на острия камней как на жертвенник. Бассейн отеля воняет хлоркой, на воде колышется несдувшийся пластиковый пакет, от тяжелой мадеры засахарился рот, и sizzling duck оказывается не инфернальной жар-птицей, а всего лишь уткой, глубоко и любовно зажаренной на сковороде.

Жизнь продолжается.

Я иду по Гибралтару, полисмен мне смотрит вслед, я иду по Гибралтару, еще английской колонии, из-за которой идет мерзкая свара с испанцами. К орлиному носу бобби прилипла пушинка, оружия в кобуре не видно, его форменная пробка-шапка-каска устремлена в небо, дивных звуков кастаньет не слышно, вокруг чисто и напоминает лондонский райончик Eaton square, где, кажется, жила не тужила незабвенная Вивьен Ли с Лоуренсом Оливье (в тандеме – словно сэндвич с салатом).

Собственно, в этом и весь смысл сего тонкого наблюдения.

Перехожу улицу, замедляю шаг.

Коньково – Нью-Джерси дремлет, агент сидит на скамейке, курит черную бразильскую сигару, сжимает для опознания смятую пачку “Кента”, сморкается для дополнительной идентификации в газету “Таймс”, помахивает ею и засовывает в верхний карман пиджака, спутав с платком.

Так и жизнь прошла, как прошли, говорят, Азорские острова.

…Сегодняшний день ознаменовался событием экстраординарным: нас повели на цирковое представление. Предупредили за две недели, дабы мы не свихнулись от внезапно нахлынувшего счастья, к тому же преподнесли и второй сюрприз: цирк будет выступать в церкви. Конечно, я был наслышан о либеральности англикан (ведь даже угрюмые католики устраивают эстрадные концерты в своих соборах), но чтобы цирк! С обезьянами, слонами, тиграми!

Между прочим, в нашей благословенной темнице декларировалась свобода конфессий, и желающих постоянно вывозили на литургии и исповеди, если они не довольствовались услугами тюремного священника. Среди нас были два мусульманина и один буддист, первые, правда, довольствовались ковриками, а буддист имел при себе небольшое изваяние Будды и молился про себя. Тюремное начальство предложило и мне определиться с религией, однако я заявил, что являюсь атеистом, но с удовольствием изучаю Библию, которая и была мне

предоставлена в личное пользование. Именно ей суждено было превратить меня из неандертальца в некое подобие человека, я настолько увлекся ею, что попросил художественное издание Библии с гравюрами Густава Доре и другое, не менее завлекательное – Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда. Как я вздыхал над историей Соломона и царицы Савской, как я восторгался изобретательным царем, сумевшим обнаружить, что у царицы волосатые ноги!

Нагорная проповедь заслонила все премудрые книги, которые я читал или собирался прочитать.

Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Но несло в мятежные реки поэзии, мчались самолеты и поезда, словно перегоняя время, наваливалось одиночество – вечный спутник поэта…

Мадрид – Париж, Париж – Мадрид,
Как будто в суете дорожной
Хотя б на миг один возможно
Палитру дня восстановить.
Еще раскладывает мозг
По уголкам свои заметки.
Был каждый кадр дневной замедлен
И, как шедевр, бессмертно прост.
Но свет угас. Квадрат купе.
Столбы мелькают монотонно.
И отдает одеколоном
Уже прокисший божоле.
Соседке лапу подает
До слез интеллигентный пудель.
О, сладкая высокость нот,
Конец твой беспредельно труден.
Его легко остановить.
И обозначилась сурово
Неотвратимость ночи новой
И невозможность дальше жить…

Эти строчки я начертал еще будучи боевым монахом, трясясь в поездах между Испанией

и Францией (было одно не слишком сложное, но канительное курьерское задание, на такие Монастырь был горазд). Жара стояла огнедышащая, в сто тысяч солнц закат пылал, правда, несмотря на обилие пота, желания наложить на себя руки у меня не возникало, что не помешало ради поэтической строки воткнуть эту гранд идею в текст.

Пишу и думаю: истина ли это? Или все мои писания – лишь игра с самим собой в поддавки, желание порисоваться и представить себя витязем в тигровой шкуре, нибелунгом, Фридрихом Барбароссой. Смешно, но я, продолжатель традиций Иисуса Навина (о, подвиги распутницы Раав, пригревшей лазутчиков в городе Иерихоне), любовался словом и следил, как оно переливается перламутром в склонениях и спряжениях, как один глагол перекликается с другим, совсем не перекликаемым глаголом, глохнет, уступает, крошится и, совсем захлебнувшись, усыхает в ничто.

Иногда мне кажется, что на самом деле служба в Монастыре была лишь прикрытием (другого не найти слова!) для служения прекрасной Музе, удивительному Слову, которое лежало в основе мира и всегда насмешливо смотрело, как топочет ножками и шевелит ручками непоседливое Дело, считающее себя локомотивом истории, а заодно и ее сутью. Конечно, это бред собачий, приходящий в голову только в каталажке.

Глава четвертая, она – гордость моя, ибо нет ничего прекраснее, чем быть великим и непризнанным

Усни и ты, мой дерзкий дух,
Не знавший под собой узды;
Жар прихотей твоих потух
И сумасбродные мечты.
Клянусь тебе, за эту прыть
Мне дорого пришлось платить…

Джордж Гаскойн
СИНЕЕ – БЕЛОЕ

Белый снег и синее море.
Белое море и синий снег.
Белый берег и синие чайки.
Белые блестки на синем песке.
Белые дюны и синее солнце.
Белоснежно-белые сосны.
И конечно, если смешать
Все краски резко
И затушевать места пустые,
И заштриховать синее – белым,
А белое – синим,
То не дозовешься ни зюйд-веста,
Ни норда.
Обленившийся ветер
Отказывается работать.
Так и стоишь у окна между
Белым и синим, синим и белым…
Только скажи: почему же, зачем же
Смотришь ты в это окно запотевшее?
Словно судьбы ожидаешь решение,
Словно настала пора разрешения
Всех твоих умных и глупых вопросов.
Словно задумал внести оживление
В нагромождение снежных заносов.
Словно рассвет ожидаешь в смешенье,
В новом свеченье красок знакомых,
В новом смятенье спасение словно!
Синее – белое. Снова и снова
Смотришь, от синего снега слабея:

Не шелохнутся, не вздрогнут деревья.
Можно, конечно, пустить белку
по белому снегу,
Усадить женщину на камень, которого нет,
Усадить женщину, которой
нет,
На переломленную ветку кедра.
Чтобы сидела она у моря, ожидая ветра
Из-за синего Эрезунда.
Чтобы мелькало на горизонте
Зарывшееся в волны белое судно.
Можно, конечно, оживить картину,
И на скамейку возле отеля
Посадить мужчину у дюны синей
В свитере под Хемингуэя,
Рассматривающего дольку мандарина…
Но и это было!
Белизна сиреневая, синева серебряная.
Нет ни бега времени,
Нет никакого движенья,
Нет ни Бога, ни дьявола.
Однообразны волнение моря
И неподвижность картины.
Остается невысказанное слово,
Потешное и бесполезное,
Как путешествие по белой пустыне:
Только синее – белое – белое —
синее – снежное.
…Когда-то я был чрезвычайно жестоким,
И бичевал крахмальные манишки,
черные смокинги
И другие буржуазные пороки
С бесконечно высокой вышки
Пролетария двадцатого века.
Помнится, миллионер у Горького,
Съедавший за кофе полсухаря,
Казался мне образцом враля:
Я был убежден, что в основе этого
Лежит прибавочная стоимость,
А не простая диета.
Лорды в рваных пуловерах
И поношенных брюках
Вызывали у меня,
Как модно сейчас говорить, аллергию.
Считалось, что это дешевый номер

Обреченной буржуазии,
Запутывающей народные толпы…
Чтобы почувствовать сладость комфорта,
Неплохо в драном свитере,
С заплатами на непрезентабельном заду
Усесться на террасе отеля с видом
Или в саду с видом
На презентабельный и вполне
живописный фьорд.
Где-нибудь в Думбартон-Оксе.
Вдыхая дымок
Сигариллы чужой…
Конечно, мне ближе родной говорок
Незабвенной московской пивной,
И это пижонство.
Однако без всякого фобства
И рискуя быть застигнутым раздетым,
Скажу, что обожаю западные клозеты,
Утепленные, вычищенные искусно…
(Боже мой, какое кощунство!
Теперь придется доказывать
Тем, кто повыше,
И главное, тем, кто пониже,
Что я хотел бы жить и умереть в Париже,
Если б не было такой земли…)
Кружится голова!
И вот втыкаю в галстук булавку
бриллиантовую,
И как суперденди, выряженный
и начищенный,
До умопомрачения галантный
И до безобразия напыщенный,
Смочив щеки кельнской
И закурив голландскую,
Отхлебнув сельтерской
И оторвавшись от шведского,
Спускаюсь в бар английский
В поисках счастья и виски.
Ах, этот поиск счастья,
До хорошего он не доводит!
Синее – белое, белое – синее —
Необъяснимое
Смеется и бродит по пустынным гостиным.
То из камина тонко проплачет,
То зашепчет быстро из выси:

“Какая запальчивость! Сколько свежести
мысли!
Где вы учились? И в каких кругах,
извините, выросли?
Как все это вынесли?
О, недаром у вас редкие волосы!”
Подумать только: петь дифирамбы виски
И кельнской воде!
…Белое – синее, синее – белое,
Что-то обрыдло мне в этом отеле!
Я жутко устал от всего интерьера
И хочется вставить перо фокстерьеру,
И дело не в том, что уже надоело,
А в том, что уже до всего нет мне дела!
О, если бы я понимал, в чем тут дело…
Умчаться в Австралию к аборигенам?
Устроить восстание? Стать каннибалом?
Ворваться в дворцовую залу с наганом,
Разверзнуть красную пасть:
“Которые тут временные? Слазь!”
Иль полотенце в отеле украсть?
А может, надраться с самим Диогеном?
Лохмотья надеть и не мыться годами,
И черви пусть ползают между ногами
Назло гигиене! И воют гиены!
Счастливым дыханием бочка согрета,
Навоз под ногами, и рядом холера.
Пытать Диогена, просить Диогена
Раскрыть эту тайну – загадку картины,
Где синее – белое, белое – синее.
Где выхода нет и где выход так ясен,
Что даже подумать об этом противно…
Сидим в нашей бочке, смердя от мальвазий,
И краски бросаем шутя на картину,
На белое море, на синюю тину.
Так сладок бросок, так смертельно опасен!
Как страшно, что вдруг покачнется картина,
И словно от пули, окрасится красным…
Белые деревья, синяя пороша.
Дорога уходит все дальше и дальше,
И покажется чуть попозже
Гораздо лучше, чем раньше.
Но уже никогда не возвратиться
К исчезнувшим дюнам и морю,
Не остановиться у мола,

Не зачерпнуть пригоршню синего песка,
Пытаясь разглядеть свою песчинку
В куче взаимодействующих,
Злодействующих и прелюбодействующих
Песчаных величин.
Сколько нас развелось! Какая толчея!
И каждый орет, утверждая себя
В этой массе песка…
Страх охватывает меня от предчувствия холода,
От предвидения заснеженных плит,
Словно уже обглоданный,
Вымороженный и выпотрошенный,
Растасканный муравьями по крохам,
И захлебнулся, и ничего не может мой стих!
Синее – белое, белое – синее,
Невосполнимое, невозвратимое…
Вот и город встречает фанфарами,
Распахнутыми окнами и запахами пасты.
Автомобильные фары горят, как раненые тюльпаны,
Освещая будущее, которое всегда прекрасно.
Постепенно сердце становится на место.
Как это говорится?
Легко на сердце от песни.
Надо просмотреть прессу.
Не забыть позвонить и извиниться, что не…
Раздавить клопа на стене.
Лечь в десять. Распланировать весь месяц.
Уже тусклые серые линии
Окаймили людей и предметы.
Вот и ушло мое синее,
Вот и ушло мое белое,
Мое самое первое,
Мое самое заветное и самое запретное,
Детское и самое зрелое,
Невыносимое,
Синее – белое, белое – синее.

Наверное, через частокол веков, копаясь в железных электронных кладбищах, любопытствующие потомки, уже принявшие к тому времени вид клопов или, наоборот, гигантских звезд с концами в миллионы лье, с удивлением наткнутся на бормотания Алекса, который сам толком и не понял, что же он бормотал и зачем.

Но бормотал же, и это непреложный факт. Метался, и что?

Конечно, бессвязные звуки не самый худший вид тюремного времяпрепровождения (хотя можно долбить подкоп, подобно графу Монтекристо залезть в чужой покойницкий мешок,

выплыть в море, найти все-таки свою Мерседес и отомстить за все мучения).

Но душа не дремала в долинах Дагестана, копалась в собственных дебрях в лучших традициях мекленбургской интеллигенции, мечтала о реинкарнациях и прочих мутациях. Оказалось, что в этом вполне ординарном черепке в избытке гнездятся самые невероятные мысли отнюдь не о профессиональных монастырских делах, а ближе к Моисеевым скрижалям, Неопалимой Купине и прочим сокровищам, открытым благодаря (как писал великий пролетарский писатель) книгам и еще раз книгам.

Воспитанный на Емельяне Ярославском (в миру Иеремия Губельман, а не Иероним Босх, пишу зло, раздраженный контрастом образов), на энциклопедистах и вольтерьянцах со всеми их Гольбахами и Гельвециями и прочими язвенниками, я и не подозревал о богатстве религиозного мира, я не ощущал паучьих оков атеизма. Этот тупой смердящий спрут казался мне маяком свободы и оазисом счастья, пока брожения по кладбищам и церквам – как известно, лучшим местам для тайниковых операций и агентурных встреч – не втянули меня постепенно в божественные сферы.

Сначала я видел Его плоско, как малолеток, начитавшийся сказок: седобородый, добродушный старичок в белой рубашке, окруженный тучками, облаками и звездами, ласково раскрывал свои объятия навстречу каждому входящему В Библии, иллюстрированной Юлиусом Шнорр фон Карольсфельдом, Бог выглядел очень импозантно: огромная, лелеемая борода, над которой, видимо, трудились десятки ангелов-парикмахеров, изысканная мантия, ощущение недоступности. Но и этот Бог-вельможа недолговечен был в моем воображении, я совершенно запутался в метаниях между белой полотняной рубахой и раззолоченной мантией, в результате Бог потерял свои зримые черты, остался загадкой. Иногда казалось, что это Любовь.

В век рассудительных машин
Живите предвкушеньем цвета,
Глухим отсутствием сюжета,
Смешеньем красок и картин.
В слепом наитьи протянув
Свои беспомощные руки,
Ловите запахи и звуки,
Мерцайте словно перламутр!
Сжигайте старые стихи,
Квартиры, кольца, настроенья,
Свои изнеженные перья,
Портреты, головы, грехи.
Какое счастье серый цвет
Сменить на снег до слез колючий,
На ярость, что в благополучье
Не удавалось подглядеть,
На вздохи, всплески, конфетти,
На блестки нежности высокой,
На мрамор верности жестокой,
Нас охраняющей в пути.
Меняйте все, пока в ночах

Не растворились незаметно…
Ах, если б жизнь когда-то где-то
Я смог бы заново начать!

…Любовь преследовала меня в тюрьме, и это было ужасно: ведь родился я, к несчастью, однолюбом (тут ржут и хохочут все ангелы мира), и все мои страсти сошлись на Римме. Не на той сморщившейся мымре, что доводила меня своей ненавистью к котам, а на юной, хохочущей (отсвет фонарей на блестевших зубах), едкой, не терпевшей пресмыкательства…. в общем, много я еще мог бы написать.

Поразительно, но все милые подружки, которые неизбежно проходили через ловушку моих объятий, даже не возникали в памяти, словно они были бесплотными призраками. Листая фон Карольсфельда, особенно иллюстрации к Ветхому Завету, где геройствовали Руфь, Ноеминь, Суламифь и прочие волшебницы, я пытался нащупать хотя бы один достойный обожания лик, но все они были искусственны и слишком пафосны.

Счастье мне подвалило в многотомном иллюстрированном “English Larousse”, издании, богатом на краски. Там я и наткнулся случайно на портрет Зеленой Дамы, правда, личико ее пребывало в отсутствии, зато привлекали скелет и его отдельные составляющие. Кости захватили мое воображение, отвратили от Рубенса с его аппетитно-мясными фигурами, и тем более от слишком прилежного фон Карольсфельда.

ЗЕЛЕНАЯ ДАМА

Какая-то грузность сегодня меня охватила,
Какая-то грустность сдавила и цепью
скрутила,
Как будто набухла душа и рвется из тела
со страшною силой.
Иль дедом я стал отупевшим, до ужаса
зимним?
Так и тянет меня, словно девочку, выйти
на сцену,
Просиять на экране меня так убийственно
тянет…
Распирают амбиции, жгут воспаленные нервы.
Вот бы сбросить все это, отшвырнуть
и оставить,
Через поле промчаться, с головою
с размаху удариться в сено,
Не стена ведь, а сено. И не хрустнет мой
череп,
Не расколется надвое, лишь протаранит
Пару дюймов душистого рая, не зря ведь
растили
Его мама и папа, профсоюзные и пр. активы.
И в бастильях его не учили в каком-нибудь
Чили…

О мой череп! Как Гамлет, беру его в руки,
лелею.
Сколько в нем доброты и дерьма и пустого
горенья!
Через нос в него лезет сухая трава, ароматная
до одуренья,
Так и хочется жить бесконечно, да жалко
нет времени.
На работу пора, за дела уж пора приниматься…
Не до Гамлета тут. Ни Офелии нет, ни ее
благородного братца,
Ни папы-мерзавца.
Ах, зеленая дама, красотка без ребер,
моя Клеопатра,
На рентгеновском снимке заметно,
что сердцу неладно.
Хоть улыбчивы губы, но видно,
что это неправда.
Ах, зеленая дама, миледи, кокетка моя,
кориандровой водки залить тебе
в глотку бы надо,
Чтобы выползла прямо ко мне, словно пава,
из траурной рамки на сцену,
О, зеленая дама, кокотка, в колготки тебя
разодену!
Мой изменчивый друг,
Загадка зеленая, скрытая в коже холста,
Я грустен, как твой драгоценный каблук,
И немы мои, и ничтожны уста…
И взгляд мой точеный, мой вытянутый,
мой вытертый,
Незащищенный от света – ослеп он!
Завыть бы и выйти из этого плена марионеток,
Где каждый за ниточку дергает, трогает каждый
руками —
Как в сердце стилетом!
И все проверяют из клеток ли я или вдруг
не из клеток,
А вдруг марсианин переодетый, в толкучке
суетной…
Чудовище милое, жаль: две руки мне лишь дали.
Завтра в восемь, когда он уйдет,
Буду ждать тебя в темном подвале,
В холодном подъезде с каракулями на стенах.
“Люблю, – говорила, – наверно”. И верно,

любила,
И плечико дергалось нервно от стука дверей.
Да что по сравнению с этим постель —
 бескрайний аэродром,
Пахнущий одеколоном пляшущий ипподром
С двумя пепельницами по бокам, двумя
радиоприемниками,
Одной плевательницей на двоих
И полоскательницами для вставных челюстей.
Завтра в восемь. Как всегда, на вокзале рядом
с буфетом,
Где пьяницы хлещут водяру и запивают мадерой.
В зале ожидания, где навалом, вповалку
валяется тело за телом.
Где бабки в платках, где младенцы ревут
на руках оглашенно.
Приляжем рядом, осторожнее, носом не
ткнись по ошибке
В мозольную пятку. Руками коснись моих губ.
Разве не прекрасен наш союз под моею
болоньей?
Что делать, на улице минус пятнадцать.
В метро целоваться? Прогонят.
Как страшно, наверно, грешно
Внезапно увидеть твою обнаженность,
За серенькой шубкой, за шуткой
Почувствовать больно влюбленность
В щемящую хрупкость, в беспомощность,
В некую томность, тревожность
Груди, призывающей руку – не душу —
на помощь.
Зеленая дама, красотка, прости мне мою
монотонность,
Мы в мире одни. Мы вдвоем. Мы несемся
в зеленую пропасть.
Стоим на углу, и нас ветер насквозь
продувает – какая нелепость!
Уйти бы, порвать эти ниточки, к черту
взорвать эту крепость!
…Но мы не уходим,
мы в рамы уходим обратно,
Но мы не уходим,
нас просто застигли внезапно.
Целуй меня крепче – и это действительно
важно,

Зеленая ведьма, мой гений, ведь это
единственно важно…

Слишком муторно сочинять о любви в одиночной камере, уперев взор в зеленый скелет. Но эти кости прекраснее, чем сисястая Даная и задастая Саския, это моя Любовь.

Глава пятая, в которой рифмы, как кильки в банке, громоздятся друг на друга

Я не твой, снеговая уродина…

Владимир Маяковский

Постепенно я стал привыкать к образу Поэта, который, как Франсуа Вийон, слагает свои мысли перед повешеньем, причем не жалует ни власть имущих, ни бесштанных.

Одна поэтическая строчка вмещает больше жизни, чем самый объемный роман.

И не имеет никакого значения, о чем эти строки – о цветке или о мотыльке, о небе или о преисподней – они идут из твоей души, несут с собой ее кусочки и долетают до неба.

Бессмысленно писать прозу.

ГОЙЯ

...

Мне скучно, бес…

Александр Пушкин

Повесть о художнике Гойе, его великой серии “Капричосо ведьмах и ослах, о Его Величестве короле Фердинанде, об испанских грандах и немного о беспечных рыцарях, больше о жизни, и меньше о смерти.

ОПУС ПЕРВЫЙ

О ТОМ, КАК ПОЛЕЗНО ЛЮБИТЬ МАХ

И ВИНО И НЕ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Нетленность дружбы. Тленность мах.
Вина кастильского бочонки.
Здоровый сон. И сам монарх
С утра позирует, галчонок.
О сам монарх! Не стыдно мне,
Что краски лгут, и сердце плачет.
Зато на толстом кошельке
Неоспоримый знак удачи.
Зато так сладко ощутим
Земли набухшей дух весенний,
Крутая музыка поленьев
И чесноком пропахший дым.
Гори дотла, пока гульба
Не обернется волчьим адом.
Спеши, еще не знает Альба,
Что ты давно сошел с ума.

И тех, что были всех нежней,
В горбатых ведьм, оглохший мистик,
Ты обратишь всесильной кистью,
Уже чужой руке твоей.
То будет позже. А пока
Костра прерывистое тленье.
Вкусны бараньи потроха.
И наплевать на все века —
По полкам все расставит время.

ОПУС ВТОРОЙ
О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В БЕССМЕРТИИ, ЕСЛИ ВЫПАДАЮТ ЗУБЫ, ПРИЛИПАЮТ БОЛЯЧКИ И ВЕЧНО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

Я думаю, зачем пишу, зачем
Вливаю блажь в поблёклые страницы?
Я перешел какие-то границы
В самом себе. Утеряна мишень.
Я сам себе, наверно, буду сниться.
Как беспощаден этот календарь!
Он мне сулит уход от наслаждений
Туда, где тошен умудренный гений
Комфорта, пышных фраз, где, как и встарь
Инфанты, двор, беззубый государь…
И я шагаю по краю доски
В мир ненавистный и такой любимый,
Разодранный, как падаль, на куски,
Замученный мурой и жирным дымом.
Все лживо, и поэтому так зримо!
Когда-нибудь зловещий хоровод
Вечнозеленых абсолютных истин
Меня в такое пугало зачислит,
Что буду я вопить: “Я не такой!
Я безыскусный!” Близится покой…
Как много нас прошло чрез этот плен
Полотен, болей, радостей подложных!
Ну что, художник, где же твой треножник?
Стоишь один, как будто новый день
В который раз впервые открываешь.
Ты знаешь то, что ничего не знаешь.

ОПУС ТРЕТИЙ
О ТОМ, КАК ТРУДНО ПИСАТЬ ПОРТРЕТЫ КОРОЛЯ ФЕРДИНАНДА. КОГДА ДРОЖИТ РУКА, И ВСЕ ЗАВИДУЮТ, И ИСХОДЯТ ЗЛОСТЬЮ

За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король,
И ничего ты не изменишь.
Пиши и красок не жалей.
Прикажет – розовой пастелью,
Прикажет грязью – не робей!
За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король
С такою крупною мошною,
Что грех не покривить душою
И написать (опять на грех)
Его портрет, нет, не портрет,
А плод фантазии натужной:
Нос удлинить, лоб удлинить,
Взгляд омертвелый и недужный
Веселой искрой оживить.
За что казнишь, мой критик злой?
Да, не таков у нас король.
Он безобразен, он бесчестен,
И низок лоб, и кнопкой нос.
Но посмотри на этот холст.
На блеск ботфорт, на отблеск перстней,
На голубые кружева,
На лик, раздумьем обогретый.
Что нам дурная голова
В сравненье со смятеньем цвета!
Что мне король?! Пора весны
Давно прошла. Настала осень.
Давай-ка, бросим на столы
Огнем подернутые кости.
Осла на трон! И в рот – дерьмо,
Пускай жует его как сено.
И ведьма пусть зальет вино
В глухую жопу суверена!
За что казнишь, мой критик злой?
Король в Испании – король.
И жизнь пролетела зря.
Я жалок. Я казню себя.

ОПУС ЧЕТВЕРТЫЙ.
ПЕСНЯ ВЕСЕЛЫХ ИДАЛЬГО,
ИМ ПЛЕВАТЬ НА ИСКУССТВО,
НО СЛАВА И КРАСОТКИ НЕ ПОМЕШАЮТ…

Франциско – белая ворона —
Придурком несусветным был.
Писал картины для пижонов,
От них мы все зеваем сонно,
К тому ж он ром дешевый пил…
Да разве в этом счастье, братья?
И что картин дурных салон?
Превыше пушки дипломатий,
Опушки солнечных погон,
Зазывный хохот нежных жен,
Души томленье, треск распятий,
И что, друзья, дешевый ром?!
Писать картины стыдно, братья,
Услышав горн и шпаги звон.

ОПУС ПЯТЫЙ.
РЕПЛИКА АНГЕЛОВ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА
ПРАВЫ, ХОТЯ ЧАСТО ОШИБАЮТСЯ

Веселитесь, рыцари,
Наслаждайтесь, рыцари!
Вам еще припомнится
В лапках инквизиции.
Ох уж как припомнится,
Ох уж как запомнится!
Солнышко закатится,
Помертвеет солнышко…
Запоете, храбрые идальго,
Чужим незнакомым голосом
На чужие и совсем незнакомые
вам слова.
И поплывете по морю Лжи к берегу
Предательства
В бухту Подлости,
Через Большого Убийства туманные
острова.

ОПУС ШЕСТОЙ.

ИСПОВЕДЬ ИНКВИЗИТОРА, ЧЬЕ СЕРДЦЕ БОЛИТ, КОГДА ОН РУБИТ ГОЛОВЫ

Мученики догмата,
Страждущий народ,
По веленью Божьему
Просветлеет лоб.
Шелестящей глыбой
Прошуршат слова.
И замрет на дыбе
Мыслей кутерьма.
Ряс жестока сбруя,
Тягостен клобук.
Ох, как аллилуйями
Поражен мой слух!
Мученики догмата,
Хмурый карнавал,
Зазывает холодом,
Стонами подвал.
Там зовут, в наручниках
Свившись тяжело,
Руки всех замученных
Именем Его.
Где же твоя истина?
Пустыри и страх.
Вера твоя вышняя?
Стершийся пятак.
Молишь – не домолишься,
Лишь бросает в дрожь
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
На кинжале кровушка,
На молитве ложь.
Значит, так положено
Сочетаньем звезд…
Как хорек затравленный,
На Христа взгляну,
Ворогам задавленным
Руку протяну.
Руку предававшую другу протяну.
Славно я монашество,
Сладко предаю.

ОПУС СЕДЬМОЙ

О ПОЛЬЗЕ ГОРОСКОПОВ, О ЖАРЕНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МЯСЕ И О БЛАГОУХАНИИ РОЗ

Какой сегодня странный гороскоп:
Луна чудна́. Лукавы гиацинты.
И дьявол в образе козла
Мораль читает о принципах,
Трясет разбойничьим копытом
И тычет прямо в небеса.
Ну что тебе твоя судьба?
Бессмертия не завоюешь.
Пускай ты дни и ночи воешь —
Тебе одна лишь жизнь дана.
Ее прожить – как спичку сжечь,
Как в спячке все проспать, что есть.
И что есть то, что в спячке есть?
Как будто мы не можем снова
Все перечесть и пережечь,
Как будто мы не можем снова…
Сегодня странная луна,
Но гороскоп внушает радость:
Идут прекрасно все дела,
Гораздо лучше, чем вчера.
Подрежьте волосы, не надо
Растить и холить их всерьез.
К врачу идите. Кариес
Зуб источил. Займитесь садом,
Но не срезайте нынче роз.
Контрактов больше заключите.
Детей сегодня не кормите
Своею грудью. Рок зловещ.
Диетою пренебрегите.
Пишите письма. И простите
Своих друзей. Купите вещь
Недорогую на дорогу.
Не сейте просо и овес.
И ради Бога, ради Бога
Не подрезайте нынче роз!
Хотя известно: тот высок,
Кто подрезаем ежедневно,
И нужно стричь и удобрять.
Но не сегодня! Гороскоп
И наши звезды нынче скверны.
Сегодня Каина печать

На наших судьбах.
Рвите груши.
Тампоны заложите в уши…
Нет, гороскоп сегодня хуже,
Чем был вчера.
Тревожно мне.
Треножник пуст, в окне картина:
Сжигают ведьму дикари,
Кретины в масках, арлекины!
Не дашь девчонке двадцати,
И хороша! Темно от звона,
О, замолчите, звонари,
Мне из-за вас не слышно стона,
Не видно огненных волос…
А запах жареного тела
Так удивительно похож
На дух баранины. И даже
Напоминает запах роз…
О, святотатец! Торквемада
Дитя в сравнении с тобой!
Мы все мучители душой
Без исключенья. Торквемада
Хоть честен в помыслах своих,
Не лицемерит, не бубнит,
Что нынче роз срезать не надо,
Что надо сеять, надо печь,
А розы подрезать не надо,
И лучше девушек не жечь.

Пожалуй, точка.

Рассчитываю на продвинутый интеллект современников, которые в умопомрачительных блэкаутах и тонких, как пальчики Суламифь, намеках легко опознают Самого-Самого в испанском короле и прочую клыкастую свиту.

Ныне История забыта.

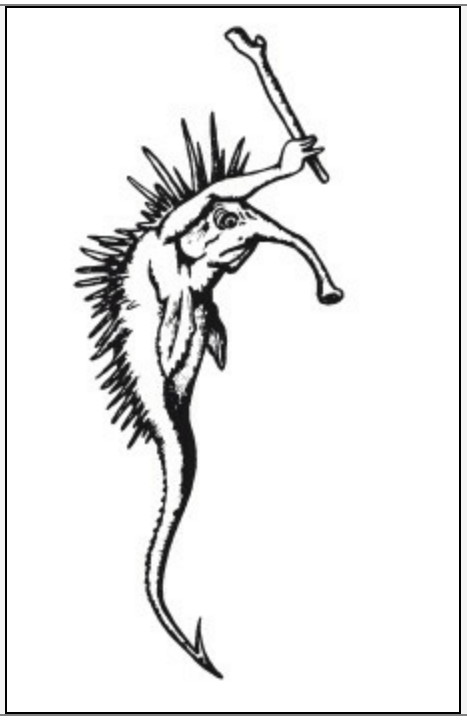
Но рано или поздно справедливость будет восстановлена.

Уже тикают другие часы, меняются конфигурации и федерации.

Нет ничего старого под солнцем.

Впрочем, нет и нового.

Что прискорбно, однако.



Глава шестая, зануднейшая: дама выбирает колготки, а рыцарь размышляет о гульфике

Дай мне руку, иначе я упаду
Так скользко на этом льду…

Георгий Иванов

Она понятливо улыбнулась и наклонила свою блондинистую головку (внутри меня уже клокотал вулкан – только бы не расплескать, донести, как тарелку горячих щей, полученную у ротного повара!).

Я остановил кэб, галантно отворил дверцу и попросил доставить нас до моей гостиницы, там находился недурственный бар, – зачем ума искать и ездить так далёко? По дороге я узнал, что девицу зовут Розмари, работает она моделью в ночном клубе (понятное дело), а живет около Стратфорда-на-Эйвоне. В баре мы заказали по бокалу божоле (тут мой Везувий грозил уже засыпать лавой всю Помпею), и, одним глотком испив чашу, я предложил продолжить пир в моем номере с богатым мини-баром.

Девица взглянула не меня вопросительно, видимо, рассчитывая, что я тут же обговорю цену.

– Вы останетесь довольны! – сказал я уверенно, как продавец в магазине pret-a-porter (сам для себя твердо решил, что не подниму планку выше ста пятидесяти фунтов), и мы быстренько взгромоздились ко мне на второй этаж.

Тем, кто саркастически кривит рот, я посоветовал бы сначала отсидеть годик в одиночестве хотя бы на даче у приятеля, черпая радости лишь в “Камасутре” с изгалявшимися в невероятных позах индусами и индусками!

В номере я неожиданно почувствовал стыдливость, словно впервые в жизни попал в женскую баню, потом меня охватил трепет портного, снимающего мерку с Марии-Антуанетты, неожиданно прошиб пот, и нос захлебнулся в разнообразных и порою неоднозначных запахах.

Вперед, вперед, нас честь зовет туда, где к славе путь прямой. Одежды рухнули, и моя Даная сверкнула спиной и дала старт лошадкам [12] .

Однако бега задерживались, ибо со мной творилось что-то неладное: пот лился ручьями, вулкан то полыхал, то трагически затухал, почему-то стали леденеть уши и на ногах словно повисли вериги. Пришлось опустошить малую бутылку “Джонни Уокера” с черной наклейкой, принять душ и закурить сигару, дабы обрести хотя бы некоторое спокойствие.

Самое главное, что меня совершенно не волновали тайные силы, установившие за мной наружку и наверняка обставившие номер аудиовизуальной техникой. Пусть моя леди являлась хоть начальником мировой контрразведки, от этого ни ее чуть подзагоревшая нагота (грудь с выдающимися сосками могла, если бы уместилась, влезть в книгу Гиннесса), ни полные губы жрицы любви отнюдь не теряли своей порочной притягательности.

Наконец я обрел второе дыхание, гора Везувий приняла свой образцово-показательный вид, и высохший и обтянутый мускулами Алекс (так казалось) ринулся на штурм бастиона, который совершенно неожиданно превратился в Змея Горыныча, выпустившего свои

скользкие щупальца (если я не путаю его с двумя змеями, пожиравшими детей Лаокоона – вот он, избыток эрудиции!).

Оглушительно гремели пушки, разбивались о башни глыбы из катапульты, гигантские лестницы царапали крепостные стены и по ним карабкались вооруженные до зубов воины, в общем, “звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала”, а дальше я забыл, если и знал. Горыныч, однако, и не думал сдаваться, выкрикивая ожесточенные “нет! нет!”, “только через мой труп!”, “никогда!”, “nevermore” (на манер растрепанного Ворона из Эдгара По), это “nevermore” взрывалось, как набат, призывавший городской люд на ратушную площадь [13] .

– В чем дело? – прошептал я, исходя ненавистью, перемешанной с вожделением (коктейль горчицы с сахаром).

– У меня аллергия! – выдохнула она, и я отскочил от нее, словно ошпаренный кипятком.

Стыдно признаться, но до сих пор многие слова остаются для меня загадкой, и названная болезнь ассоциировалась с великим Эдгаром, пораженным триппером и виски на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка. Только позднее я узнал, что эта болезнь не страшнее диспепсии или амнезии, видно, моя дама сразу узрела во мне беспросветного оленя, которому можно заговаривать рога. При этом сжала бедра так, словно перевыполняла план в кузнечном цеху, в глазах у меня помутилось, и я даже взвился вверх на пути к небесам. Внезапно осенило: а вдруг это трюк для выбивания баксов? Только этого еще не хватало, или эта шлюха принимала меня за полного олуха? Может, она домогается от меня непомерно высокой цены?

Вся эта гнусная сцена живо напомнила мне годы монастырской юности, когда полоумная девка из деревушки рядом со школой ассов проморила меня целую ночь, подставляя под воспаленный предмет то оловянную кружку с квасом, то взбитое тесто в миске, то приблудного котенка, при этом гнусно похохатывала и щипала меня за мошонку.

Тем не менее временное отступление не означало капитуляции, наглое заявление только удесятерило мои силы, бронепоезд прорвал оборону белогвардейцев и врезался прямо в будку станционного смотрителя.

Трудно описать мои сладкие восторги (они были бы совсем крем-брюле, если бы я просидел в одиночке лет пятьдесят): мы превратились в одно воющее мокрое чудовище, и этому не помешало даже внезапно рухнувшее ложе. От грохота содрогнулись стены всего мира, трещины поехали по викторианским домам напротив, и мне показалось, что нас затопит Ниагара (жалкая, подозрительно желтая капля, удесятеренная взбудораженным воображением).

Мы оба в изнеможении вытянулись на оскверненном паласе – две ракеты, взлетевшие к звездам.

Разговаривать не хотелось.

Розмари выпрыгнула в ванную, а я вылил в себя бутылку кока-колы, вслушиваясь в бешеные, всклокоченные ритмы пульса. Ею же спрыснул бедра, радуясь счастливому финалу.

Вскоре мадам благополучно вернулась, водрузив на своем аллергическом заду махровое полотенце, а я медленным шагом утомленного кенгуру прошествовал в то же заведение. С печалью созерцал я себя в зеркале: знаменитый пробор превратился в веник, запущенный нерадивой уборщицей, раскрасневшаяся физиономия, исцарапанная то ли пуговками наволочки, то ли пучком волос, росших из бородавки партнерши у носа, опухла от страданий. Изысканные морщины на лбу превратились в старческие борозды, о, это был не

герой Алекс, а измочаленный ишак, на котором долгие годы таскали воду из арыка. Тут я внезапно обратил внимание на коричневое пятно у самого виска – такие появляются у древних геронтов, доживающих последние годы в качалке под присмотром стервозной супруги, трясущейся по поводу наследства. Приняв душ и спрыснувшись “Плохими мальчиками” (теми самыми, которыми поливали юношей древние пидоры-греки), я возвратился к своей даме, попыхивающей сигаретой.

Предвкушая еще один рискованный рейд на территорию завода, я расположился на постели рядом с Розмари (долго вспоминал ее имя, – склероз, папаша, склероз!) и поцеловал в ухо (этот ритуал обычно приводил в трепет любую даму и включал зажигание в моем лимузине). Однако народ безмолвствовал, пламя из искры не возгорелось, увядшие помидоры не потянулись к солнцу, и французской революции не свершилось.

Я почувствовал себя неудобно, словно заказал бутылку “Мумм” в шикарнейшем “Крийоне”, но не обнаружил в карманах ни одного су, и лакей в белых перчатках тяжело дышал и кусал побелевшие от гнева губы.

В голову пришло самое глупое: отделаться с ходу. Порывшись в портмоне, я достал две купюры по пятьдесят фунтов и небрежно бросил на столик (еще пятьдесят оставил на возможный торг).

– Что это? – весьма надменно спросила дама. – Стоимость гондона?

Резануло, как бритвой по сердцу (точнее, шарахнуло бревном по голове).

Позднее я узнал, что существует более интеллигентное слово “кондом”, но отзвуки дворового детства не давали вписаться в более интеллигентный вокабуляр.

Должен признаться, что мой опыт взаимодействия с вольными актрисами был достаточно ограничен, к тому же за долгие годы тюрьмы тарифы и прейскуранты наверняка изменились, хотя я прекрасно помнил, что в мои времена средней руки шлюха стоила пару туфель.

А может, я выгляжу жлобом?

Сколько же может стоить уличная баба?

Конечно, я ни на секунду не забывал о том, что дважды засек ее на моем маршруте, это могла быть и случайность, если бы не замена синего шарфа на красный. Но игру следовало вести по обозначенным правилам, и я растянул губы в улыбку:

– Добавить еще пятьдесят?

– Мне не нужны деньги! – ответствовала она голосом оскорбленной Девы Марии.

Шоковые повороты всегда взрывали трясину моего покоя, но на этот раз хвост старого кобеля даже не вздрогнул.

– Честно говоря, мне не хочется тебя отпускать… – сказал я, делая хорошую мину при плохой игре.

– Давай поедем ко мне в деревню! – вдруг предложила она.

От одного слова “деревня” меня бросало в дрожь, и я думал, как были правы классики, когда писали об “идиотизме деревенской жизни”. Однако дамочку следовало оперативно раскручивать, не допрашивать же ее грубо по поводу номера моего авто, загоняя под ногти иголки, предоставленные гостиницей для кройки и шитья в свободное от бара время?

Месяц в деревне, деревенский хор у Яра…

– В твое имение? – спросил я с нескрываемой иронией: вдруг она повезет в фамильный замок герцогов Мальборо в Бленхейме?

– У меня небольшой домик в Муррее, это рядом со Стратфордом-на-Эйвоне, поездка

займет чуть больше двух часов.

– А как там старик Вилли, жив еще? – звучало, как знакомое “функционируют ли Черноморские бани?”, но искренне: ведь к Шакеспеаре я был привязан еще по своей австралийской легенде, да и всегда тянулся к его заковыристым идиомам и жевал ароматный навоз глоссариев.

Тем не менее предложение явилось тактичным выходом из дранга нах остен, и я быстро согласился. Пришлось приодеться в твид и фланель, галстук прочь, знаковые берлингтонские носки, “Черчиз” на толстой подошве, длинный трость-зонт на случай грозы (или метели), этакий потертый индюк, собравшийся поохотиться на лисиц в Шотландии (а заодно и окунуться в знаменитое озеро с чудовищем).

В лобби отеля жужжали осы-посетители, перекатывались чемоданы и спортивные сумки, кто-то испускал пары за компьютером, свора доходяг мучила автомат с водой, призванный заменить закрытый бар. Темнокожая дама за стойкой регистратуры бросила на нас беглый, равнодушный взгляд, как на пролетевших мошек, швейцар с преувеличенной помпой распахнул дверь.

Вот ты и нырнул в неизвестность, Алекс Уилки, или как тебя там, нырнул в миазмы улиц вместе с добропорядочной клиенткой диспепсических лечебниц. Моросил мелкий дождик (занудно, как у Диккенса), мы быстро прошли к подземному гаражу рядом с Рассел-сквер и заняли места в моем “рено”. Во время перехода я ощущал некий интуитивный дискомфорт, словно вились вокруг меня то ли вороны, то ли змеи, то ли мириады невидимых частиц из оперы Вагнера. Так бывает, когда вроде бы нет места для беспокойства, но коже больно, нервы напряжены и по голове лупит дирижерской палочкой сбрендивший чертик. То ли это была интуиция, то ли шизофрения, то ли последствие резких и бесполезных подъемов из болота воздержания на Эйфелеву башню семяизвержения, оставалось только догадываться, но пришлось подчиниться року событий и вывести кабриолет на орбиту.

Муррей на карте генеральной кружком отмечен не всегда, зато место рождения Шекспира обозначено на всех поворотах, причем указатели по законам общества потребления направлены в самые разные стороны. (О, славный Мекленбург, где даже одинокая стрелка всегда считалась раритетом, установленным после того, как правительственный членовоз вместо Ильи Муромца въехал в баню к Добрыне Никитичу.)

Но изобилие так же вредно, как и дефицит, я плевался, не зная куда повернуть, и в результате решил подчиниться прямой. Естественно, на пути я сделал обычный финт: съехал с автострады на узкую колею, ведущую к бензозаправке, – рассчитано на фраера, который тупо потянется вслед. Но фокус не удался, несмотря на трезвость факира, за мной никто не дунул или дунул настолько виртуозно, что замутил зеркальце заднего вида.

Машин масса и впереди, и сзади, и параллельно, все летели в целебные окрестные места, и не случайно: северо-запад, несмотря на бурную индустриальную историю страны (включая отсечение головы невинному Карлу I), ухитрился сохранить нетронутость природы и пряный запах древности. Озерца и речки с форелью и лососем, ухоженные леса, набитые самодовольными фазанами, гордые овцы и свиньи, шествующие по пригожим полянам, неожиданно возникающие коттеджи, переложенные балками из черного дуба.

В Мекленбурге такое надругательство над честной жизнью трудолюбивого пахаря давно бы подвигло бы население на красного петуха. И пахарь сделал бы это с чистым сердцем, предварительно полив мочой резное крыльцо и набив мешки умерщвленными павлинами, и был бы абсолютно прав в свете мекленбургского социального равенства, давно вошедшего в

кровь и плоть нации.

А в новых, счастливо буржуазных и неукротимо свободных временах пахарь, скорее всего, ухватил бы берданку и пришил бы владельца коттеджа прямой наводкой, попутно засадив под сердце финский нож его прекрасной половине и детушкам. Но, судя по газетам, на родине пахари не торопились, с удовольствием нанимались в охрану и дули дешевую водку, отдаваясь грезам.

Перед Стратфордом мы выехали на колею местного значения, мое волнение в связи с окружавшими машину следящими призраками несколько улеглось, впрочем, на черта им было переть бампер в бампер, если моя наперсница разврата наверняка могла подать сигнал. Вела она себя расслабленно, очевидно, предвкушая утехи в искомой деревушке, выстанывала из себя невнятную попсу и смолила “Мальборо”, вперив очи в буколические пейзажи.

Я не стремился ее разочаровывать, и временами игриво поглаживал ее по коленке, напоминавшую высохшую лапу сдохшего крокодила.

Вот и Муррей, воистину гордость английского крестьянства (впрочем, там жили – не тужили всевозможные жулики-банкиры и прочие кровососы). Привлекательная церквушка XII века с обветшавшей крышей, заросшая камышом речка с тропой для толстопузого туриста, два живописных паба рядом (представляю, как аборигены переходили из одного заведения в другое, накачиваясь пивом, а потом брели под пуховое одеяло, задыхаясь от затхлой любви их благонамеренных супружниц).

Тут мы немного покрутили по гравиевой дорожке и подъехали к одноэтажному домику, напоминавшему благоустроенный сарай.

Я выскочил первым и галантно раскрыл дверцу кареты, изо всех сил корча из себя благовоспитанного джентльмена, – играть до конца, играть и бдеть, не забывая ни на секунду о потенциальной угрозе.

Если бы знать, от кого именно.

Играть на лезвии ножа, дрожа от сладости пореза, – и я проследовал в караван-сарай, изучая спину, с которой, возможно, спрыгивали разношерстные невидимые блошки – носители аллергии.

Чуть смягченный дезодорантами запах кошачьей мочи ворвался мне в ноздри, и я сразу вспомнил свою мекленбургскую даму, ненавидевшую меньших братьев этого рода. Боже, сколько на этой почве случалось жутких скандалов, с какой ненавистью вышвыривала она котов, которых я обожал затаскивать в квартиру, подобрав в подъезде или рядом с помойкой!

Где вы теперь, кто вам целует пальцы?

Живешь ли ты с Сережей, или он уже вышел в люди и вылетел из гнезда? Эта мысль так часто посещала меня, что превратилась в тупую боль, которую я чувствовал, даже не включив мотор воспоминаний, она стала моей частью, словно второе сердце [14] .

Приют моей крошки являл собой банальность средней руки: рецепция с торшерами, диванами, баром и камином, спальня с огромным ложем (словно для Людовика с двумя Мариями-Антуанеттами) и зеркальным шкафом. Кухня, сплошь уставленная и увешанная тарелками и фигурками из фарфора и фаянса, – истинно английский кич, с веками превратившийся в так называемый деревенский стиль.

Как я и ожидал, к нам под ноги выскочило целое стадо хвостатых созданий, остальные мерцали зелеными глазами из всех углов комнат. Я успел заметить, что плошки, расставленные по апартаментам, заботливо наполнены едой, что означало участие в хозяйстве моей субретки и других лиц. При виде королевского ложа во мне вновь проснулись

дурные инстинкты, казалось, что с Розмари мы прожили, если можно выразиться не скабрезно, душа в душу многие годы, комната осветилась любовным сиянием, и я подполз к траншее.

Один из котов, словно издеваясь, вцепился тигром в большой палец моей ноги и, урча, стал его облизывать, издавая сексуальное урчание.

Этого еще не хватало! Но как его оторвать? Как вообще вырваться из этой тоски? Открыть Монтеня скуки ради? Выпить бутылку “гленморанджи”? Нарубить дров, разжечь камин, завалиться в кресло, укрыв колени шотландским пледом?

Наконец проклятый кот прекратил свое мерзкое действо и отпустил мою несчастную плоть. Стало еще тоскливее, и я уже жутко жалел, что согласился на поездку с Розмари.

– А не рвануть ли нам в град великого из великих? – предложил я. – Давненько я не бродил по его затертым тротуарам!

“Давненько” означало зарю моей благотворительной деятельности, когда я осваивал свою легенду-биографию с австралийским папой – шекспироведом, понятно, что неделю я проболтался в Стратфорде, дабы мои познания Шекспира не выглядели плодами программы мекленбургского техникума.

Контрагент не возражал, и через двадцать минут мы уже парковались у неказистого вокзальчика Стратфорда.

Городишко выродился в образцово-показательный туристский центр: все вычищено, все покрашено, все рассчитано на кретина. Именно он поверит, что так все и выглядело при Елизавете, якобы почившей девственницей (это возбуждало правителей мира, и они без устали к ней подкатывались).

Надратый Вилли (он и умер от пьянки по случаю своего дня рождения) под ручку с таким же пропойцей Крисом Марло переходили из кабака в кабак, фехтовали друг с другом на улицах и засыпали в навозной куче рядом с домом мамаши гения Мэри Арден.

Ноги вынесли нас прямо к зданию Королевского шекспировского театра и вялотекущему Эйвону, в котором бултыхались гуси-утки-лебеди и множество других пернатых, запущенных сюда для услаждения взора сентиментальных идиотов.

Вот и сам Вилли, скромняга в окружении своих персонажей. Вот толстопузый весельчак Фальстаф, вот хрупкий, безвольный Гамлет, а вот и моя любимая леди Макбет – “леди долго руки мыла, леди долго руки терла, эта леди не забыла окровавленного горла…”. Не хватало еще парня с ослепительно красным носом, который освещал лестницу в винный погреб.

Захотелось встать рядом, нацепить канотье, сделать ручкой и войти в историю. Увы и ах, это не прокатиться на “Симплоне” от Стамбула до Венеции и обратно, отражаясь в начищенных медных завитушках купе и запахах свежевыловленных омаров, исходящих от официантов во фраках. А как же идиллия старости: сборища пенсионеров-ветеранов Монастыря для обмена опытом (когда морочат голову собственными подвигами)? Или посиделки с внуками и правнуками на завалинке во дворце Бельведер?

…Покрутившись по улочкам, мы вышли к зданию в стиле модерн, где размещался центр по изучению и приобщению. Рядом стояло захудалое, но приведенное в порядок здание, где Вилли якобы издал свой первый победный клич, просунувшись из чрева матери (можно вообразить это величавое зрелище!).

Честно говоря, переть туда у меня не было никакого желания, но Розмари (казалось, что она никогда не посещала сей град, – обычная история с теми, кто живет рядом с Эйфелевой или Британским музеем) скорчила капризную физиономию, и мне пришлось поплыть в

фарватере ее юбки.

Предварительно я двинулся в общественный клозет во дворике, рядом стоял унылый бюст индийского поэта Рабиндраната Тагора (так же уместно, как монумент 26 Бакинских комиссаров), там я немного убавил своей вселенской тоски и вышел на простор. Тут ко мне и прицепился высокий субъект в черной, широкополой шляпе, очень напоминавший популярного актера, не вылезавшего из мекленбургского эфира.

– Сэр, не нужен ли вам квалифицированный гид, знающий Шекспира как свои пять пальцев?

– Сколько это будет стоить? – практично спросил я, опасаясь потери своих миллиардов.

– Ни пенса. Я студент, и таким образом мы проходим практику.

Я с любопытством осмотрел мятую куртку, скрывавшую пузырек живота, потертые ливайсы в отрепьях и замызганные ботинки со стоптанными каблуками. Студенту уже давно перевалило за тридцать, на морде цвели следы системного пьянства, и он совсем не походил на юношу с взором горящим.

– Где же вы учитесь и что изучаете? – полюбопытствовал я.

– Крайстчерч, Оксфорд. К сожалению, факультативно (прохиндей понимал, что с такой мордой трудно сойти за студента), люблю быть вольной птахой. А изучаю я философию…

– Похвально. Что-то меня не тянет на поход по музеям. Разве можно восстановить прошлое спустя пять веков, если даже вчерашний день каждому видится по-своему?

– Напрасно вы так думаете. А ведь на вас лежит знак Шекспира… редко, кому так везет… – шелестел он.

Я оглянулся в поисках Розмари, рассчитывая, что с ее помощью отделаюсь от нахала, однако моя королева отвалила, видимо, углубившись в другие катакомбы.

– Что значит “знак Шекспира”?

– Чувствуется, что вы не изучали пифагорейскую доктрину метопсихоза. Она воспринималась, как переселение души в последующие тела. Сам Пифагор был сначала Эталидесом, сыном Меркурия; затем Эвфорбу-сом, сыном Панфоя, павшим от руки Менелая в Троянской войне; далее Гермотимеем, пророком в Клазо-менах, городе в Ионии; затем смиренным рыбаком и, наконец, философом с Самоса. (Одно это перечисление давило, как стопа слона на задыхавшегося муравья.)

Эге, подумал я, угораздило же меня столкнуться не просто с прохиндеем, но и с болтуном! Сейчас затуманит, обволочет бредятиной, а в результате утянет из кармана кошелек.

– И все же насчет знака… – перебил я его.

– Дело в том, что вы удивительно похожи на Френсиса Бэкона. А портрет лорда Бэкона в издании 1640 года “О достоинстве и приумножении наук” при наложении его на портрет Шекспира из первых четырех фолио шекспировских пьес без всяких сомнений устанавливает идентичность этих двух лиц. Впоследствии на свете появилось много выдающихся деятелей, ликом своим практически не отличающихся от великого Вильяма…

Только этого мне не хватало, подумал я, подцепил-таки родственничка… впрочем, а почему бы и нет? Шакеспеаре тоже временами шпионил, да и кто не занимался этим благородным делом в свихнувшейся на шпионаже доброй старой Англии? Один Дефо, бывало, составлял расстрельные списки диссидентов и передавал их грозному шефу Уолсингему.

– Что ж, уважаемый студент (тут я иронически поднял бровь, казалось, что она (бровь)

шелестит над виском, словно продолжение чуба запорожца), давайте пройдем в покои, послушаем ваш просвещенный рассказ. Как, кстати, вас зовут?

– Артур.

– Уж не переселилась в вас душа короля Артура? – плоско съязвил я, кстати, за дурацкие шутки в свое время в школе меня прозвали “мудаком”.

– Возможно, – ответил он на полном серьезе. – Но напрямую я веду отсчет от сэра Артура Конан Дойла.

Бомж (а кем еще он был?) неожиданно снял необъятную шляпу и низко поклонился на придворный манер, шаркнув истоптанным башмаком. Я проследовал за авантюристом в дом гения из гениев. Не могу сказать, что я засыпал от его рассказов, но никогда в жизни не встречал я такого огромного количества помоев, вылитых на моего любимца. И в школе не учился (в Стратфорде ее попросту не было), и родители выделялись своей вопиющей неграмотностью, и шесть образцов его сохранившихся рукописей (три из них – завещание) выдают человека, не владеющего пером, и никто не видел рукописного текста его пьес или сонетов. Жуткий скряга, завещавший жене только кровать, а нищим – пять фунтов. В судебном порядке изъял у одного задолжавшего земляка два шиллинга и в разгар своей литературной деятельности больше всего был занят скупкой солода для пивоварения.

К счастью, сэр Артур не стал углубляться в вереницу персонажей, которые, по всей вероятности, писали за Шекспира, а затем прикрылись его именем.

Всех этих литературоведов и спекулянтов, жонглирующих именами Марло, Бэкона, графа Оксфорда и прочих возможных Шексжуликов, я иногда читал в тюряге, удивляясь, как ловко они используют эту кормушку.

К концу осмотра у меня появилось ощущение некой невидимой связи между пабом “Шерлок Холмс” (сэр Артур!), неожиданной поездкой в Стратфорд на дивном Эйвоне, собственным неповторимым “я”, судорожно бегающим между Вильямом, Бэконом и этим современным Фальстафом в шляпе.

Но где же Розмари? Впрочем, я был бы рад, если бы она потерялась, собственно, на черта она мне нужна?

Наконец профессор закончил лекцию, выпустил меня на свет Божий, распрощавшись таким же церемонным поклоном, как и при знакомстве. Я превозмог врожденное скупердяйство (точнее, бережливость) и сунул ему в ладонь пять фунтов – пусть выпьет пинту, большего он не заслужил.

Но он вернул мне пятифунтовку:

– Простите, сэр, но мне неудобно, не могу ли я пригласить вас к себе домой на чашку кофе.

От нечего делать и повинуясь тяге к неведомым приключениям, я решил плыть по воле волн, хотя предпочел бы выпить кофе вне компании этого наглого мушкетера.

Выплыв на воздух вместе с королем Артуром, я провел легкую рекогносцировку на местности. Делал это тонко, головой не вертел, на бахче шнурки на ботинках не завязывал и не приседал якобы по большой нужде, всматриваясь в заднюю даль через расставленные ноги, а больше ласкал взором витрины, отражавшие все вокруг, как в королевстве прямых зеркал.

Настроение было окейное, и я жалел, что не родился в Стратфорде в одно время с Шекспиром. Не пил на брудершафт с Бэконом, не имел собственного зашифрованного символа, хотя криптографию освоил еще перед первым своим выездом за пределы

Мекленбурга, и до своего заточения успешно отправлял по радио ритуальные шифровки в Монастырь.

Как милые голубки (дедушка с внуком, – извращенно мелькнуло в голове), мы прошествовали к вокзалу и уселись в мое авто. Радио слаженно пело хором знаменитые “Зеленые поля”, которые исчезли, испеченные солнцем (CD я не менял, верный одному репертуару).

Домик короля Артура явно не соответствовал стандартам бедного студента (конторка, стопка книжонок, раскрытый на десятой странице Эжен Сю, смятые конспекты): внизу просторная рецепция в стиле art nouveau, репродукции Мухи (игриво разноцветный чешский маляр), кожаный гарнитурчик с желтой антикварной лампой и баром мореного дуба.

Хозяин, приторно улыбаясь, достал из бара “Чивас Ригал”, вытащил из холодильника ведрышко с футбольными мячиками из искусственного льда и поставил все на стол. Виски и лед обычно пробуждали во мне Моби Дика, заглатывающего моря и океаны, я набил высокий стакан ледяными шариками и влил туда драгоценную влагу.

В пандан пьющей атмосфере мой студент затопил камин (дровишки аккуратно лежали рядом), и дом тут же обрел домашний уют, не хватало лишь знаменитого сверчка, умиротворенно цокающего на своем тарабарском языке. Среди безвкусных безделушек, искусственных цветов на стене и веджвудских декоративных тарелок я увидел гравюру с изображением типа с огромным лбом и с лопатообразной бородой, лежавшей на гофрированном воротнике (необъятный лоб был увенчан ермолкой).

– Это что за розенкрейцер? – осведомился я (о тамплиерах и масонах я много читал в лондонской темнице, но ясности у меня не прибавилось, и понятней был старшина из монастырской школы, не различавший масонов и, как он выражался, жидов).

– Это подарок одного моего знакомого. Вы угадали: это Иоганн Валентин Андреа, высокий эмиссар Розы и Креста, говорят, что под этим именем скрывался Бэкон или Шекспир. Полумесяц под портретом появлялся на гербе Бэкона, четыре буквы OMDC внизу справа являются простым примером бэконовского шифра: если буквы перевести в числа, то получится 33 – нумерический эквивалент имени Бэкона.

Артур включил проигрыватель, вытащил из ящика наугад какой-то диск и плюхнулся в кожаное кресло. Играли нечто крайне сумрачное, симфоническое, с воющим контральто, мгновенно меня окутала гнетущая тоска, захотелось сесть за руль и помчаться на край света и там свалиться прямо в преисподнюю.

Я остановил устройство и взглянул на диск: Густав Малер, Третья симфония, все понятно. Хотя мне нравился Малер по картине Висконти “Смерть в Венеции”, может, это она? В серьезной музыке я не разбирался, помнится, по понятным причинам даже гоготал, когда в средней школе учитель заговорил о “Могучей кучке” [15] , но порой любил невнятный гул, в который врывались истерические скрипки, мандолина, гитара и бас. В тюрьме нам давали слушать классическую музыку сугубо в терапевтических целях, а иногда поясняли, что эта симфония, мол, о восходящем солнце среди полей и лесов или о метаниях одинокой души. Иногда от звуков в душе что-то слякотное разжижалось или сгущалось, как тучи перед бурей, постепенно я внушил себе, что музыка делает меня значительней и укрепляет веру в Бога.

Дубовые часы на комоде торжественно пробили двенадцать.

– Пожалуй, мне пора, – заметил я, допив виски.

– Умоляю, не уходите, мне очень важно ваше присутствие, умоляю вас! – Слова

сыпались из его рта, как мекленбургские пельмени из разорванной пачки (если они рассыпались на сорокаградусном морозе, упав на платформу при выходе из электрички).

– Это еще зачем? – удивился я, однако не отодвинул руку негодяя, который успел наполнить мой стакан.

– Дайте мне вашу руку, умоляю! Я должен посмотреть на вашу ладонь! Дайте мне руку, это ведь нужно не мне, а вам! – продолжал чуть не плача Артур, и, пока я раздумывал, раскрыл мою ладонь и начал что-то шептать, как я понял, по-латыни.

– Я так и знал! Так и знал! У вас те же линии, что у сэра Френсиса! – Он буквально вытащил меня из кресла и подвел к гравюре старого жида Андреа в чепчике. – Все совпадает! Какое сходство! – продолжал он в том же взвинченном тоне. – У вас, по всей видимости, та же самая шишковидная железа!

– Что еще за железа?! – спросил я угрожающе, ассоциируя его открытие с канцером, сифилисом и прочими геморроями (больше всего боялся, что он начнет осматривать мои железы).

– Она прячется в мозгу, это священный глаз древних, соответствующий третьему глазу Циклопа, в ней скрывается Ваш дух, и ее не открыть, пока Духовный Огонь не поднят сквозь священные печати, именуемые Семью Церквями Азии… – бормотал кретин.

– Да перестаньте вы пороть ерунду! – возмутился я.

– Вам угрожает опасность, даже смерть…

– Сейчас?

– Не знаю, она затаилась в глубине века [16] , мне трудно сказать, когда точно она вырвется наружу. Не знаю, отмщение ли это или плата за грехи… ведь то же самое произошло с Шекспиром, погибшим в день рождения… он ведь пил брагу и ничего не подозревал… бойтесь своего дня рождения!

Он продолжал что-то лепетать, окропляя брызгами синий палас, он снова схватил мою руку, но я резко оттолкнул его.

– Когда родился ваш отец? – вдруг спросил он.

Личность родителя всегда была свята для меня, касаться ее запрещалось даже близким.

Передо мною самый настоящий псих.

Конечно, псих, ну и что с этого?

Еще Ломброзо вещал, что у большинства талантливых людей давным-давно поехала башка, – не случайно Монастырь был всегда готов на основе медицинского заключения направить на лечение в психушку какого-нибудь выдающегося гения-диссидента (потом обычно на Западе ему вручали Нобелевскую премию).

Я старался выглядеть спокойным рыцарем с железными мозгами, но меня весьма и весьма взволновали и сведения о своей похожести на рассыпающегося от дряхлости масона, и странные предсказания по поводу затаившейся, словно бандит за углом, смертельной угрозе (к тому же еще в каком-то веке). Я прошелся по рецепции и еще раз взглянул на лик Иоганна Валентина Андреа, сверкавшего выпуклым лбом, плавно перераставшим в лысину, накрытую ермолкой. Только при больном воображении, только при извращенном восприятии мира можно было найти сходство между этим типом и потрепанным в боях, но еще годным на подвиги Алексом. Боже, как отвратительны эти нелепые пейсы, кустами падающие на гофрированный воротник, эти водянистые глаза и ухоженная борода-лопата (наверное, Иоганн холил ее целыми днями, выскребывая застрявшие крошки хлеба, кусочки капусты и попутно изгоняя оттуда красноглазых белых мышей).

– И все-таки я поеду! – молвил я без всякого желания куда-то ехать. Жуткая это черта, пожалуй, профессиональная, постоянно наступать на горло собственной песне, между прочим, тоже шизофрения, привет, чокнутый король Артур!

– Уважаемый сэр, я должен вам открыть тайну моей непристойной навязчивости: вас хочет видеть одно очень важное лицо.

– И только из-за этого весь этот фарс? – возмутился я, тут же сообразив, что стал жертвой простейшей комбинации, в которой участвовала и шлюшка Розмари вместе со всей кошачьей сворой.

Глава седьмая, в которой почтенный автор ничем не отличается от идиота

Он жил, не зная, жил ли он,
Переходя тысячекратно
От жизни к смерти и обратно.

Эндрю Марвелл

Выйти вон, предварительно устроив скандал в стиле оскорбленной добродетели?

И что?

Прояснятся ли все загадки и будут ли все шашки расставлены на доске?

Вряд ли, мой принц!

И я решил не уклоняться от встречи: всегда лучше обнять врага, чтобы его задушить, нежели бежать в сортир и прятать голову в унитаз (есть опасность только вымазаться, но не обрести истину).

Часы показывали час ночи, за окном стояла тьма, которую разрезал свет от одинокого фонаря, в нем крутилось скопище мотыльков. О, мотыльки, микроскопические людишки, легко умирающие и так же легко являющиеся миру! Вечер сатурний, когда вышла из кокона самка, тут же убранная под колпак из металлической сетки. Но не тут-то было! Вся комната наполнилась битком мириадами бархатных летунов, жаждавших обладать прекрасной пленницей, они задевали и тушили свечи, садились на плечи и на лицо, они летели со всего мира, чтобы совершить акт любви и тут же умереть, взмахнув на прощание ажурными крылышками…

И в тюрьме можно жить (это к вопросу о мотыльках), даже добиться привилегий и работать где-нибудь на помойке, получать за это чистые фунты стерлингов, жить под небдительным присмотром в общежитии, и даже иногда придавливать там пролетавших наседок. Достаточно мягко для кровавого Алекса – все-таки одного оглушил, а другого кокнул из “Беретты”… Совершенно не раскаиваюсь, хотя по натуре добр и даже тараканов в камере давил лишь тогда, когда они атаковали меня, словно полчища тевтонов на Чудском озере.

– Я поднимусь наверх и доложу о вашем прибытии, – сказал Артур и ушел вверх по лестнице, сбросив туфли (очевидно, его мандарин выносил только босоногих слуг).

Я остался наедине с собою, но виски пить не стал, настраиваясь на серьезную беседу. Чувствовал я себя предельно спокойно: все стало на свое место. Я взял с полки толстую энциклопедию и раскрыл ее наугад. Любил я эту неприхотливую игру с книгами: ткнешь пальцем в раскрытую страницу и прикидываешь, какой смысл таится в слове, подвернувшемся под палец. Связано ли это слово с тем, что произошло вчера, или будет завтра? Какие еще слова можно к нему прилепить, в какое выстроить предложение…

Выпало совершенно пресное:

“Орел-харпи (harpya harpyia), самый большой и самый сильный из орлов, живущий в дождливых лесных краях тропической Южной Америки. Быстрая и проворная птица, перелетающая на короткие расстояния с дерева на дерево в поисках добычи – преимущественно обезьян и ленивцев”.

Это заставило задуматься, барахтаясь в наплывах ассоциаций.

Харпи – символ США.

Харпи – намек на мужественного Алекса.

Харпи – это Некто в ермолке (проклятый Иоганн крепко засел в памяти).

Еще одна попытка.

“Отец – родитель мужского рода; предок мужского рода, более удаленный, чем родитель; основатель расы или семьи; в Англии – старейший член палаты общин…” Пся крев… Я разом захлопнул книгу, тоска смертная, и никакой связи между орлом и отцом. Почему же никакой?

Отец умер давно, и в моей памяти он возникал еще сравнительно молодым, кровь с молоком, в гимнастерке и погонах – все-таки не хряк свинячий, а начальник лагеря, старый волк Охраны, пользовавшийся у заключенных репутацией справедливого босса (впрочем, об этом он сам мне рассказывал, когда выпивал, а что было на самом деле…).

А жизнь была нелегкая, вся в борьбе с ворогами, которых хватало у самого справедливого в мире Мекленбурга, крошили, главным образом, друг друга, много народу порешили в этих кровавых боях [17] . Жутко конспиративный и беззащитно открытый. От него уже, наверное, остался лишь прах, смешанный с землей, или ледышка, или… Видит ли он меня с вышины? Созерцала ли его парящая душа все мои метания по белу свету? Несомненно, что он гордился Алексом – единственным любимым сыном, если, конечно, святой Петр не отнимает память, пропуская душу через врата…

В ожидании высокой аудиенции я неожиданно задремал в кресле, хотя казалось, что меня мучит бессонница, Гомер, тугие паруса – и никаких гвоздей.

Сон (если это был сон, а не бред, не безумие) вспыхивал странными клипами – клип-клип, хлип-хлип – перебивавшими друг друга.

Хор детей: мама, мама, наш отряд хочет видеть поросят.

Бледный Алекс в гондоле плывет по каналу в лондонскую Венецию, там средней руки зоопарк, плывет торжественно, как гордый лебедь.

Вдруг охотник выбегает, прямо в Алекса стреляет.

Краснозадая шимпанзе протягивает лапу из клетки и срывает с носа Алика темные очки.

Теперь все видят, кто он такой. Огня, кричат, огня! Пришли с огнем.

Люди, будьте бдительны! Где начальник клетки?

Вспышка огненного зада шимпанзе, еще и еще.

Посиди я в каземате еще двадцать лет, – и выбился бы в академики, и пожаловали бы Нобеля. Зачем вообще учиться в разных недоумочных университетах, если можно грызть гранит науке в камере?

Вот Маня точил камень своей партийной каплей всю трудовую жизнь, влез на самую вершину в Монастыре, добрался до поста Самого, стал метать копья в Самого-Самого, влез по дурости в комплот. Куда ему, бедному, в комплоты играть, если жена тапком по физии мазала? В итоге грянула Великая Буржуазная Контрреволюция (или Революция), шум невообразимый, гремящие танки на улицах, баррикады у парламента, попы с молитвами в честь Пересвета и Ослябли, секретут из Яшкиной губернии толкает речь с танка, охранник чуть придерживает, чтобы спьяну не рухнул, мировая общественность взбудоражена. И тут бедного Маньку взяли под белы руки и упекли в каталажку, правда, вскоре выпустили на волю, и там он начертал книгу, писал от души, видно, что тюрьма его жизнь перевернула,

расставила точки и заставила думать.

Крупный клип: смеющаяся задница шимпанзе.

Медведь хватает Татьяну в охапку и несет в сени, пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед.

Клип с рекламой часовой фирмы “Бреге”.

Но где очки?! Где темные очки, чтоб отделиться от всего?!

Челюсть Коленьки, разинутая, как у Сатурна, пожирающего своих детей. Туда я ему и всадил пуленьки. Коленьке – пуленьки, поэтическая находка, аллитерация.

Встречались на явке в Монтре, дружили закадычно. «Монтре-Палас», где жил Набоков, его я впервые прочитал в английской тюрьме, царство ей за это небесное. В гимназиях не обучались, не до книжонок было в монастырской школе. И только тогда узнал, что он с женой радовался жизни в “Монтре-Паласе” целых пятнадцать лет. Кара не умел водить и учиться не хотел, на машинке не печатал, ловил себе бабочек в свободное время и пописывал романы. Если бы не Верочка, носившая за ним книги на лекции… Если бы знать! Заскочить бы с Челюстью к великому писателю: “Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, лучезарная жена Верочка! Мы только что с явки. Объясните, пожалуйста, что такое счастье?” Что бы он ответил? Выгнал? Ни в коем случае! Шпионаж его интриговал, не случайно он написал “Соглядатая”. Кстати, Челюсть знал наизусть “Евгешу Онегина”, мог бы почитать и прокомментировать.

Об Интеллидженс Сервис сраной. Покойный отец, наивный человек, дитя ГУЛАГА (в смысле – начальник лагеречка в Сибири, где мы жили не тужили) при упоминании названия британской разведки всегда многозначительно тянул палец к небу: интеллигентная! [18] Откуда было знать, что интеллидженс и интеллигенция, что коровья лепешка и дикая роза. Думал, они другие, чем мы, грешные. Увидел бы папаша, как эти вшивые интеллигенты крутили Алика в тюрьме, как незаметно били поддых, как интеллигентно давали в морду…

Спал ли я, бредил ли, проваливался ли в пропасть в рвущихся об уступы штанах арлекина, но вдруг почувствовал, что на меня навалились, горло внезапно сломалось, заскрипело в железных тисках, я силился освободиться, убежать, я хотел жить, я разлепил глаза и увидел себя, веселого, подшофе, в синем стриповом костюме.

В льняной мятой кепке Cino Ferrari, шикарной в своем несоответствии моменту.

Тут я совсем задергался и обрел себя.

Прошло десять минут, где же хмырь Артур?

Сейчас бы контрастный душ, последнюю модель “Жилета”.

Синюшная выбритость до последней, вшивой волосинки. Ошеломляющий парфюм “Eternity”, душный и сладкий, как подмышка турецкой княжны, которую за борт или еще куда. От нечего делать вставил в кассетник Вагнера, его я полюбил на всю жизнь и готов был жить в Байрейте хоть на могиле великого гения, проверять билеты в качестве контролера на знаменитом фестивале, лишь бы постоянно слышать его “Кольцо Нибелунгов”.

Правда, сложными путями я шел к безумному Рихарду: ведь папа с мамой не учили музыкальной грамоте, и я все жаждал найти сюжет с ревнивым Отелло или подыхающей Травиатой.

Красотки, красотки, красотки кабаре.

– Какой пгиятный этот день, когда в сей дегевенский сень пгосыпалась бель Татиана! – пел мсье Трико.

Артур, наконец, показался на лестнице, шел он торжественно, словно собирался

пригласить меня на вручение ордена Подвязки из рук Ее Величества королевы.

– Извините, что я задержался, прошу сюда!

Именно в этот момент я почувствовал потребность посетить туалет, в последние годы подобные желания наваливались на меня совершенно неожиданно и в самые неподходящие моменты. К счастью, в тот момент я не присутствовал на дипломатическом приеме и не подносил президенту дары в виде набора перстней, иначе мое положение выглядело бы совсем безвыходным. Но я зашел и почти тут же вышел, и вообще не стал бы об этом упоминать, если бы за спиной не раздался грохот и кусок обвалившегося потолка не взорвался у меня за спиной, прыснув на брюки и ботинки. На потолке в водяных разводах чернела вполне внушительная впадина, почему это событие оказалось приуроченным к моему визиту в этот дом, я так и не осознал.

– Это у вас всегда так, Артур? – обратился я к вечному студенту, тоже смущенному происшедшим.

– Досадная случайность, Алекс, дома стареют вместе с людьми, не стоит нервничать из-за пустяков…

– Ничего себе пустячок, – слабо ухмыльнулся я.

– Извините, сэр, – выдавил он, словно алкал прощения за все свои грехи на грешной земле.

Зияющая задница шимпанзе зажглась, как одинокая звезда, открыв мне путь в ящичек Пандоры.

Я вошел в соседнюю комнату, где, помимо разношерстной мебели с безделушками, высилась китайская ширма, отделанная камнями из нефрита. Я еще раз огляделся вокруг, ожидая увидеть то ли величественного Сфинкса из Гизы, то ли, на худой конец, лично Несостоявшегося Ксендза в застиранной гимнастерке, допрашивавшего Каннегиссера, убийцу вождя Петроградской ЧК Моисея Урицкого.

– Прошу садиться, дорогой Алекс, и извините меня за весь этот маскарад, – раздался глуховатый голос из-за ширмы. – Не угодно ли чаю или кофе? Только прошу вас не заглядывать за ширму…

– Уж не скелет ли там? – по инерции сострил я, ощущая себя скалящим зубы Ларошфуко.

– Вот бы вы удивились, если бы оказались правы.

Я обратил внимание на некий акцент, с которым я впервые столкнулся в Городе Желтого Дьявола, беседуя с таксистом, уносящим меня в городишко Брайтон, где предстояло встретить ценного агента, который еще во время войны снабжал нас атомными секретами прямо из Лос-Аламоса. Тогда я еще не знал, что любой бердичевец не только осваивает английский за две недели, но и заражает своим акцентом остальных аборигенов. Самое поразительное, что эту ломаную галиматью все понимают, и топырят уши, если слышат истинный оксфордский, если не австралийский.

– Спасибо, я недавно плотно пообедал, – ответил я немного развязно, по профессиональной привычке нащупывая манеру беседы со столь таинственной фигурой.

– Может быть, стаканчик “гленливета”? – добродушно продолжил глас.

Осведомленность о моих пристрастиях не удивила, наоборот, было бы странно, если бы мне предложили болгарскую “мастику” или галльское “перно”. Что же это за тип и что ему от меня надо?

– Спасибо, но виски я обычно пью после семи вечера… – соврал я и к ужасу своему покраснел.

– Ладно, ладно, вы не на партсобрании, – усмехнулся типчик. – Наливайте, не стесняйтесь, с вашего разрешения я тоже пропущу стаканчик.

Тут я увидел початую бутылку “гленливета”, что меня даже успокоило, скромно налил, но разбавлять не стал, дабы не давать повода для неуместных шуток.

За ширмой тонко зазвенел ручеек из знаменитой шотландской речки Спрей и раздалось тихое покашливание (собеседник купался в нирване первого глотка).

Тут мой глаз заметил на стене портрет: это был Иоганн Валентин Андреа собственной персоной. Собственно, удивительнее было бы узреть портрет Черчилля или, не дай бог, Берии.

– Не могли бы вы представиться? – спросил я с подчеркнутой вежливостью, мысленно стянув шляпу в перьях и наклонив стан с пристегнутой шпагой.

– А какое это имеет значение? – искренне удивился голос. – С каких это пор приличные люди представляются уголовникам?

– Очень приятное начало беседы, – я аж задохнулся от внезапного хамства.

– А разве это не так? Разве вы не грохнули своего коллегу?

– Все это я уже слышал на процессе и не вижу повода для повторения. Вы что, для этого меня пригласили? – Я даже надулся от негодования, словно всю жизнь питался овощами и считал пистолет открывалкой для пепси-колы.

– Вы что? Считаете меня идиотом? Между прочим, я всю жизнь занимался проблемой покаяния. Ведь именно от этого зависит не только ваша карма, но и карма ваших родных… А вы не опасаетесь расплаты за преступление?

Ишь ты, какой умный! Больше и не с кем поговорить о покаянии, кроме Алекса! Выписал бы из Рима самого понтифика и беседовал бы с ним сутками напролет…

– Как известно, православная церковь прощает грешников. Естественно, при условии их покаяния, – я был сдержан, хотя очень хотелось врезать этому кролику.

– Вопрос весьма спорный. Но любое человеческое существо по идее должно мучиться, совершив убийство ближнего.

– Это ко мне не относится, – отрезал я. – Может, это касается вас?

Наглость била из меня, как шампанское из неумело открытой бутылки.

– Не будем напрасно ломать копья. Смерть, в конце концов, лишь незначительная деталь нашей жизни. Гораздо важнее проследить путь Темного Пятна, которое отпечатывается на всем роду. Жизнь после смерти, поверьте мне, гораздо интереснее и насыщеннее, чем наше хрупкое бытие. И Темное Пятно, словно туча, ложится на наше вечное пребывание во Вселенной. Это касается всего рода. И вот сейчас над вами и всей семьей навис топор возмездия. Вам знакома история вашего отца?

Разговор напоминал прыжки на осле по каменистой пустыне, без задержки на одной теме. Кто же сидит за ширмой? На миг показалось, что я попал на допрос в ОГПУ – НКВД, к следователю с незаконченным церковно-приходским.

– В общем и целом.

– Вот именно! – воскликнул он. – Так я и знал. Боже, как изменилось отношение к отцам! В древнем Китае дети боролись за право согреть постель отца перед сном, а сейчас…

Неожиданно я почувствовал нервную дрожь, словно меня обвиняли в отцеубийстве. Я вдохнул воздух и сделал огромнейший глоток, виски перекрутил пищевод и громыхая прокатился по кишкам.

– Я убежден в честности своего отца. Кроме того, дети не отвечают за дела своих

предков.

– Банальность, вбитая рябым кретином в головы подвластных ему рабов, которых он истреблял как тараканов. Поменьше следуйте трюизмам. Тише едешь – дальше не будешь, завязнешь и не выберешься. Тот, кто семь раз мерит, прежде чем отрезать, никогда ничего не добьется, так и будет мерить всю жизнь. Бесплатный сыр бывает не только в мышеловке, он порой и на тропинке лежит, рядом с белым грибом. Надо лишь работать мозгами, и деньги упадут к ногам…

Кто же такой этот тип? Обставлено все слишком театрально, непохоже на специальную службу. Бесспорно, не англичашки, зачем было меня выпускать и вновь вербовать? Наши? Не наш стиль. Закручено, как у Кафки, идиотская китайская ширма, придурочный студент, нет, это не наше блюдо, слишком много специй. У штатников на такие штучки просто не наберется мозгов. Какие-нибудь схимники? Антихристы 47-го дня? Староверы-маловеры? Сект всегда водилось множество, их не перечесть…

Мэтр продолжал вещать:

– Я всегда считал, что каждый человек – остров, и потому часть континента. Как и английский поэт Донн. Все мы находимся в неодолимой связи, словно табун лошадей в одной упряжке. Неужели это не ясно? Или на Земле у человека нет миссии?

Я почтительно слушал этот бред, сдерживая иронический настрой. Миссия? А какая, собственно, у меня миссия? Я же не Моисей… хотя очень хотелось бы.

– Как мне лучше к вам обращаться?

– Можете называть меня Иоганном или просто герром Андреа.

– Зачем я вам, герр Андреа? И в чем заключается моя миссия?

Он вздохнул, словно разговор измотал его до крайности.

– Вы не святой, но кое-какие задачки вам придется решить. Прежде всего, спасти себя и свой род.

Иоганн Валентин Андреа закряхтел за ширмой, возможно, он тихо смеялся и потирал руки, а возможно, оправлялся в фарфоровый горшок. Чем дольше я общался с этим так называемым магистром, тем серьезнее он мне представлялся. Спецслужбами тут и не пахло. Весь стиль разговора с загадками и недомолвками совершенно не вписывался во вполне понятный, прагматичный, даже простоватый язык, свойственный оперативникам. И впрямь за ширмой сидел тот самый мужик в пейсах, падающих на гофрированный воротник, перебирал четки и наблюдал за моим выражением лица по телевизору (трубку никто не потрудился запрятать, она торчала под потолком).

Неожиданно его голос прорвался в тишину звонким фальцетом:

– Скажите, ради чего вы живете?

Вопрос застал меня врасплох [19] , правдиво ответить на него я не мог, а лгать не хотелось. Ляпнуть наугад? Ради великого Мекленбурга, распавшегося в самой красе своей? Ха-ха, нужно быть полным кретином, чтобы тратить свою жизнь на это пристанище жулья. Ради Идеи? Но она уже давно сгинула, как Атлантида, или превратилась в свою противоположность. Сын и жена? Самое время поразмазывать сопли, причитая: “Вся моя жизнь – в детях”. Что тут греха таить, – жил я ради себя, любимого, ради того, чтобы жрать, пить и временами окучивать наседок.

– Не буду хитрить, но сейчас я не вижу предмета, ради которого можно потратить жизнь. Разумеется, я не имею в виду Бога…

– Разумеется. Это человек чувствует только в Индии. Точнее мог почувствовать. В Индии

того времени, когда великая пустыня Гоби была морем, а исчезнувшая Атлантида составляла часть единого континента, который начинался с Гималаев и простирался вокруг Южной Индии, Цейлона, Явы, до далекой Тасмании. Впрочем, мы отвлеклись. А вам не хотелось бы пообщаться со своими родными?

– В Австралии? – Я сам почувствовал, что перебираю.

– Вы никак не можете распрощаться со своими монастырскими трюками. Я лично (он сделал многозначительную паузу), я лично (покряхтел) весьма заинтересован в одном генеалогическом расследовании. Расследование касается лично вас. Но для этого надо выехать в так называемую Австралию.

Разворот событий принял совершенно неожиданный характер. Скорее всего, мой собеседник темнил, цели его были совершенно другими, но разве Алекс совсем потерял голову? Согласиться. Если не подойдет, соскочить с поезда на ходу, не сломав шеи. Но до шеи еще далеко, пока вся работа выглядит туманной.

– Я согласен, – ответил я решительно.

– Похвально, поздравляю вас. Правда, вы рискуете. Вдруг я попрошу вас убить президента?

– Ценю ваш юмор. Однако, надеюсь, вы подробно посвятите меня в дело.

– Разумеется. Более того, вам придется прочитать мемуар своего отца, не забудьте захватить его в соседней комнате. Кроме того, я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Мне нужна ваша расписка.

– Расписка в чем? – магистр не переставал меня удивлять. Может, я нахожусь в гестапо? Или в довоенном НКВД, где обожали вербовать направо и налево?

– Всего лишь в том, что вы готовы сотрудничать с Иоганном Валентином Андреа.

Заметим, что в Монастыре кадровые монахи давали не расписки, а излагали целые клятвы верности, так что опыт у меня был скудный, разве что в детстве я давал своему другу Шурику письменное обязательство вернуть ему два пирожка, заимствованные у него в обеденное время. Отказаться? Но какие будут последствия? А что, собственно, случится, если подписать? Я уже давно не монах, да и весь Монастырь полетел к чертям. Брыкаться не стоит, – подписать, а дальше время покажет: ведь вся жизнь – это сплошное нарушение обязательств (еще Учитель писал, что все обещания лишь корка пирога, которую следует сломать ради начинки, сколько муки потрачено зря!).

Я достал из пиджака ручку и блокнот и вырвал листок.

– Диктуйте, пожалуйста, я готов.

– Хотелось бы кровью…

(Удивительно, что в подкрепление этой просьбы из-за ширмы не высунулось огромное плотоядное жало Змея-Горыныча.) Все это напоминало бред, однако лишь на первый взгляд. Разве мое освобождение, метания по Лондону, поездка в шекспировские места и знакомство с герром Андреа выглядели бредовыми?

– Вы тонко шутите, но ведь я не Фауст, а вы не Мефистофель, – ни вида, ни запаха крови я не переносил. Даже разбитый нос вгонял меня в транс, из которого я с трудом выкарабкивался.

– Откуда вы знаете? Может, вы и есть тот самый Мефистофель, правда, по странной причине осознающий себя Фаустом. В ящике столика лежит бритва и гусиное перо. Надрежьте палец.

Я открыл ящичек и выложил оба предмета на стол.

– Вырвите еще листочек, капайте на него, пусть это будет кустарная чернильница, – указания следовали четко, словно мастер Андреа штамповал расписки кровью каждый день. Вся эта чертовщина не столько напугала меня, сколько неимоверно удивила. Я быстро резанул лезвием по пальцу, и очень удачно, ибо на бумаге сразу образовалась большая капля. Я макнул в нее перо и, преодолевая полуобморочное состояние от вида крови, приготовился слушать.

– “Я, Алекс Уилки, – начал он медленно, – настоящим свидетельствую, что буду помогать герру Иоганну Валентину Андреа. Подпись”. Вот и все. Если расписывать, то у вас не хватит крови. Большое спасибо. Успешного вам путешествия!

Я встал, направился к двери, но сделал вид, что споткнулся, потерял равновесие и схватился за ширму – она приотворилась, и я увидел лишь кожаный пуф, на котором блаженствовала карманная собачка (впопыхах я не разглядел породы), она обрадовалась моему появлению и призывно завертела хвостиком. Никаких магистров, никаких Андреа в пейсах! (Если только он срочно не превратился в собачку, такие трюки любил проделывать фон Мефистофель – о, эта расписка кровью!)

– Я ожидал от вас очередного экспромта и потому принял меры, – раздалось уже откуда-то сверху – Это некрасиво, я с вами – с открытой душой, а вы… Впрочем, у меня еще один вопрос: вы не боитесь возвращаться на родину?

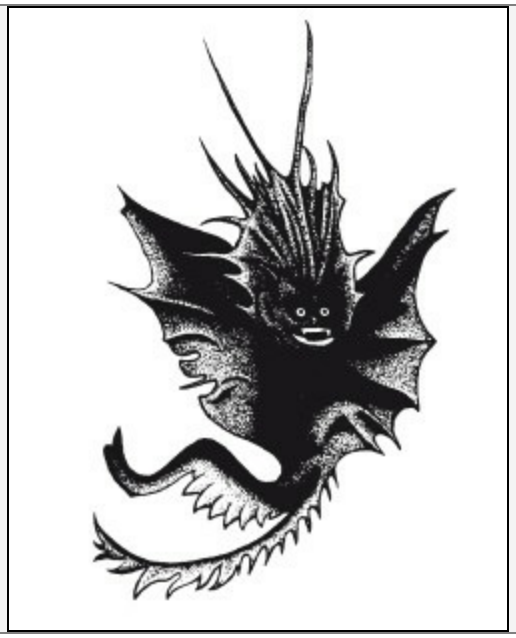
– А собственно, чего мне опасаться? Я честно исполнял свой долг и с радостью увижусь со своими родными и с коллегами. – Если бы сейчас грянул гимн, я бы не удивился.

– В таком случае желаю вам счастья. Полагайтесь на волю судьбы!

Я закрыл дверь, сердце вырывалось из груди. Ни Артура, ни души, никого. Правда, на столике лежал конверт, который я тут же вскрыл. Рукопись, почерк отца. Значит, это не сон… Впрочем, не нахожусь ли я под гипнотическим воздействием? В любом случае нельзя ни секунды оставаться в этом доме!

Лошадка “рено” стояла на месте, я без особого труда выехал из городка и встал на автостраду, ведущую в Лондон.

Отель “Ambassadors” за истекший всеми немыслимыми дождями период не переместился на небо (от старого еврея Андреа можно было ожидать любой подлости), правда, двери уже закрыли, пришлось дернуть за старомодный шнур звонка, придав физиономии усталость, свойственную бездельникам и гулякам, выдающих себя за вкалывающих тружеников. Швейцар еще витал во снах, но вежливо пропустил меня внутрь. Рукопись отца не давала мне покоя, я достал ее из конверта, впился в первую страницу, зевнул и открыл глаза только рано утром.



Глава восьмая, вдохновляющая на генеалогические подвиги, завязанные на мистике

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым…

Осип Мандельштам

“Так он и стоял, опустив голову, в белых полотняных подштанниках *[20]* (мы постыдились их отобрать, хотя пригодилось бы в нашем хозяйстве), никакого раскаяния, словно он Иисус Христос перед своими мучителями, а не обыкновенный бандит из Козлова.

Для приличия многие из них называли себя эсерами, орали о заслугах в борьбе против царского строя, всячески принижали большевиков, которые якобы отсиживались за границей, где вели партийные дискуссии под кофе с булочками. Но перед простым народом сподручнее было выступать в образах партизан (мол, не со своей властью шел бой, а с французскими или немецкими оккупантами), вот и вождь их Антонов себя так именовал, хотя всего лишь бывший начальник Кирсановской милиции, выскочка, предатель и убийца – вот уж кто пустил крови! Причем хитер, как черт: все свои грехи сваливал на разных уголовников, однажды даже прикончил одного из Караваинской банды, не щадившей население, и написал открытое письмо к народу, указав, где найти труп.

Зрело еще до него, и нас, чоновцев, начальство ориентировало по поводу козней буржуазии и ее подпевал, в том числе и в мировом масштабе. Началось все с мелочей продразверстки: с отказов открыть амбар с зерном, со скандалов и фингалов уполномоченным, обыскивающим избы, с матерщины из-за пустяков, а закончилось целым сражением и созданием Союзов Трудового Крестьянства, призывавших бить псов-коммунистов, то бишь нас.

Вот и еще одного бандюгу взяли и поставили, но порешить не торопились, времени было предостаточно, да и жалко было, хотя и не положено.

И в самом деле: жил себе человек, пахал, тискал баб, женился, наплодил детей, и вдруг нет миленького, одна душа витает где-то в поднебесье или рядом, а тело холодеет и замерзает навсегда. Совершенно спокоен, словно привык к тому, что его расстреливали, смотрел тупо в землю, сплошь покрытую одуванчиками, куда и собирались бросить его труп, завалив камнями и ветками, не возиться же с лопатой, а заставлять его копать могилу было против наших большевистских убеждений.

Солнце припекало, хотя взошло совсем недавно, бросало прозрачные лучи на подневольную ему природу, дышало радостью в голубое небо. Вдруг полуслепая старушка подошла: «Что делаете, милки? Чем занимаетесь?» Так и хотелось ответить: «Васильки собираем, бабуся, василёчки-васильки, светики степные!»

Места тут славились своим простором, необъятными черноземными землями и лесами, от красоты которых замирал дух. И не потому, что здесь родился и вырос, гораздо позднее, уже на пенсии, имел шанс возглавить тургруппу и на пароходе проехать вокруг Европы (разумеется, бесплатно, поскольку осуществлял косметический присмотр за туристами).

Конечно, Запад поразил до глубины души древними достопримечательностями, памятниками и дворцами старины, заливами вроде Неаполитанского, конечно, там люди живут не в нужде, как у нас, все вежливо улыбаются, все вылизано и вычищено, завидки берут! Я долго думал потом, почему у них при буржуазном строе все идет отлично, а у нас, несмотря на жертвы и кровь, в магазинах ни черта нет и до сих пор коммуналки и лачуги. Неужели Маркс и Ленин ошиблись? С другой стороны, как все испохаблено на Западе! Как истоптали все вокруг, забензинили и завоняли, оглушили машинами! Мечтал я о зеленом Париже, но задохнулся, а парижанам наплевать! Сидели себе в кафешках на узенькой кромке тротуара, тянули свои бордо и перно, вытянув ноги на проезжую часть, и в ус не дули. В Булонском лесу на обочине дороги зазывали проститутки – про таких лахудр я лишь читал у Куприна в «Яме» – стояли у дороги, расфуфыренные фифы, подмигивали похабно туристам в автобусах, помахивали ручками, лыбились…

И лес давно превратился в искусственный парк, покрылся пылью, поредел, пожух; везде понатыканы скамейки, на каждом углу киоски, даже у пруда, где по идее должна стоять романтическая тишина, толкались зачумленные дети и запускали на всю мощь игрушечные кораблики с оглушительными моторами.

То ли дело еще не загаженные наши леса в Подмосковье, где я снимал крохотную веранду на даче! Деревья чисты, как дети, и я бродил среди них, гладя ствол каждой кудрявой березки, отдыхал на пеньках и все подбирал себе коряги для вырезывания фигурок. Этим делом я серьезно увлекся в старости и вырезал себе целый хор: там был и худой тенор в черном цилиндре, и красноносый пьянчуга, и дама с обширной грудью. Когда приходили гости (с годами их было все меньше и меньше, противна старость, хотя разные идиоты сюсюкают об обретении мудрости и прочей гадости), я всегда подводил их к своему хору, и они восторгались моим талантом (скорее всего, врали, что еще делать?).

Неказистая деревенька, где я устраивался на лето, размещалась почти рядом с Шереметьево, и что самое удивительное – тишина стояла ангельская, никакого рева моторов в небе, рядом патриархальная речушка Клязьма, и вся эта красота в двадцати пяти минутах езды на автобусе от метро «Речной вокзал». В ненастную погоду я быстренько собирал рюкзак и мотал домой, там с наслаждением принимал ванну и обзванивал знакомых. Довольно часто летом туда наезжал Сережка, точнее, Сергей Александрович, внучок мой, иногда прямо у реки разбивал палатку. Из сумки-холодильника доставали разные продукты, разжигали «Шмель» или газовую плитку на баллончике и довольно ловко готовили себе пищу. Потом переходили ко мне на террасу поглядеть телевизор, но спать возвращались в палатку среди одуванчиков – там стояли раскладушки. Когда угасало солнце и слабо дул ветерок, одуванчики чуть наклоняли головки, но пух свой не отдавали. Не знаю почему, но я с детства любил одуванчики, хотя нелепо любить пух, который ветер превращает в ничто. Каким таинственным образом желтые цветки превращались в круглые, пушистые головки белого цвета? Жизнь растений нам, смертным, не познать, можно лишь догадываться, что они переговариваются, улыбаются и возмущаются.

…На отвратительной железной кровати в ведомственном госпитале, который я ненавидел всеми фибрами души из-за так называемого «восьмигранника» – сооружения с моргом и убогой комнатой для прощания (там я не раз отдавал свой последний долг сослуживцам), кувыркаясь без сознания в мутном тумане, я всё пытался припомнить его фамилию.

Много прошло через мои руки (я не о расстрелах, а вообще, все-таки я не

литературовед!), помнил только, что он из Козлова, хорошо видел его глаза, упертые в землю, словно он изучал жизнь муравьев, копошившихся на куче.

Как его фамилия?

Она слабо вертелась, то подлетая, то отлетая, словно игривый мотылек, «и поймать ты не льстись, и ловить не берись, – ведь обманчивы луч и волна» (это Лермонтов, которого я освоил к старости и полюбил), но никак не оформлялась во внятное слово, хотя и записана была в тетрадку, своего рода мой дневник.

Как же его фамилия?

Я несколько раз сжал руку Сергея, сидевшего с убитым видом рядом на постели, но он никак не реагировал, видимо, ничего не чувствовал или думал, что я уже умер.

…В Козлове, как ни странно, я никогда не бывал, хотя от нашей деревни до него верст сорок. Обычно раз в год отец торжественно запрягал лошадей, надевал выходную косоворотку, новый костюм, хромовые сапоги, в которые заправлял брюки, мать тоже выряжалась в оренбургскую шаль, весь год она хранила ее в сундуке вместе с другими ценными вещами, пересыпанными нафталином, – и оба принимались одевать нас по-выходному.

Затем все мы погружались в довольно приличную телегу с сиденьями и на скорости мчались не в Козлов, а в Тамбов, славный губернский город, вызывавший у нас огромное уважение по самым разным причинам и, прежде всего, из-за проживания там многих великих людей. Например, при матушке Екатерине Великой в нем губернаторствовал поэт Гавриил Державин, пробыл он на этом посту вместе с женой-португалкой недолго: его быстренько «съел» наместник, недовольный его реформаторской прытью. И публичные танцевальные вечера в доме устраивал, и классы грамматики и геометрии открыл, и первую типографию создал, и развивал в городе итальянское пение, будто жаждал взрастить тамбовских Карузо, и городской театр устроил, хотя поначалу считал Тамбов диким, темным лесом. При советской власти, как патриоту и наставнику Пушкина (даже тамбовские собаки знали надпись «Победителю-ученику от побежденного учителя», а детям продолбили ее во всех школах, хотя Державина никто не читал), ему установили большой памятник прямо в центре города.

Жили мы до жути бедно, лет до тринадцати мы с братаном Колькой пробегали в рубахах, без всяких трусов, и только в церковь или по праздникам надевали штаны (и трусы), считавшиеся непозволительной роскошью в нашей деревне. Зато учились в церковно-приходской школе и пели в церковном хоре, дискант у меня был отменный, а брат отличался мягким альтом. Сердце заходится, когда вспоминаю сдержанное сияние золотого иконостаса, расшитые золотом одеяния священнослужителей, запахи ладана и воска, нас, мальчиков, стоявших плечо к плечу, устремив глаза ввысь и выводивших в едином порыве. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздаяние руку моею, жертва вечерняя. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моления моего…»

Когда началась революция, сначала я ничего не понял, потом засомневался из-за крови вокруг, но вскоре все осознал: все-таки наша власть, рабочих и крестьян. Но если бы не кореш постарше, Яшка Хребетков, не видать мне органов, поскольку всю жизнь мечтал стать оперным тенором. В Тамбовском ЧОНе (там меня и прописали в мои семнадцать) нас, юнцов, было много, антоновцы только и орали на каждом углу, что на них, вынесших великую германскую войну, выпустили сброд из молодежи, у которой даже смелости не хватило дезертировать. Как хотелось стать артистом! Ведь всю жизнь пел в гостях, особенно

любил арию мосье Трике из «Онегина», даже грассировать научился:

Какой п’гек’гасный этот день,
Когда в сей де’гевенский сень
П ’госыпался бель Тати-ана,
И ми п’гиехали сюда:
Девиц, и дам, и господа посмот’геть,
Как ‘гасцветайт она!

Все улыбались и делали блаженные лица, словно перед ними соловьем заливался Собинов (мне говорили, что манерами я чуть похож на великого тенора), слушали внимательно, стараясь не греметь рюмками и тарелками, а в конце бурно аплодировали и часто заставляли, причем совершенно искренне, повторить.

Но как же его звали?

– Что-нибудь передать жене? – спросил Яков, видимо, жалко стало, человек все же, хоть и бандит.

Яков считался у нас самым добрым, ему бы в церкви служить, всегда давал взаймы и не просил вернуть, не таил зла после ссоры, заступался в трудных ситуациях, играл на мандолине и хорошо пел частушки, ни о ком не отзывался плохо.

– Так что передать?

Тот поднял серое, в синяках лицо (на допросах мы их всех прикладывали, а как еще? они с нами тоже не в белых перчатках работали), посмотрел куда-то мимо, потом на небо.

– Давай кончай! – без всякой злости или пафоса, как будто сплюнул.

И никакого раскаяния (один гад совсем недавно землю грыз, чтобы простили, на коленях ползал), ненавидел нас, словно мы власть взяли не ради таких, как он, рабочих и крестьян, будто мы не отдавали молодые жизни за международную победу всех пролетариев. Правильно говорил товарищ Ленин: рабочие должны давить их, пигмеев, своим железным кулаком. Ведь приезжали к нему в Кремль крестьяне из Тамбовской губернии, с каждым здоровался за ручку, интересовался делами, в том числе и бандой Антонова. Ему объяснили, что эти так называемые партизаны грабили советские хозяйства, потребиловки и частных граждан, а у крестьян отнимали скот, лошадей, сбрую, фураж. Жаловались и на власти: мол, нет у трудящихся сил выполнить разверстку, сплошной грабеж! Власти порой доходили до глупости: требовали картошку, а когда крестьяне ее привозили и сваливали, то она попросту сгнивала, и тогда их снова призывали и заставляли почистить и освободить место.

…Он смотрел в землю, но мы не спешили: не хотелось омрачать выстрелами хорошую погоду и настроение. Да и жаль его было, хотя они нас не жалели, – совсем недавно захватили Митрофанова, вырезали на груди звезду, а потом повесили на осине в назидание всем, вот и вся песня!

Почему же они ненавидели свою власть? Ведь мы боролись с врагами народа, ради вот такого типа, который стоял перед нами, а вместо благодарности и одобрения они поджигали наши казармы, оседали в лесах, совершая наглые вылазки на наши отряды. Никогда я не смог получить ответа на этот вопрос. С белогвардейцами, в чьи дворцы такие простые люди, как я, вселились из своих жалких хижин, всё было ясно: они отстаивали свою собственность, награбленную у народа, но почему этот самый народ частично их поддерживал? И не только

в гражданскую, но и в Отечественную: сколько солдат перешло на сторону немцев!

Небо заволокли облака, но ненадолго. По этому поводу мы закурили, положив винтовки на траву. С Хребетковым я работал уже давно, странный он был человек, иногда неожиданный. Однажды сразу же после того, как упал замертво очередной наш подопечный (я по ошибке попал ему в голову, и она словно взорвалась, разлетелись мозги во все стороны), вдруг сразу же завел со мной разговор насчет лошадей, мол, нельзя отбирать у крестьян жеребых кобыл, а брать только меринов, годных к походу. И в то же время умный человек: после тюрьмы вымахал в ученые, стал профессором в авиационном институте, женился на балерине – молодой пенсионерке с огромной квартирой на улице Горького, отрастил интеллигентскую бородку.

Мы решили перекурить, пока тот стоял и выкобенивался, достали газету и махорку, скрутили себе по штуке (тогда папиросы считались роскошью, а слово «сигарета» еще никто не слышал), присели прямо на землю, благо погода стояла теплая. Но в какое место тащить потом труп? Не бросать же волкам на съедение? Прошлись к оврагу, но удобного места для погребения не обнаружили.

Яков недавно вернулся из Моршанского концлагеря, где содержалось человек сто разных бандитов и им сочувствующих, карали тогда еще мягко: одним – до пяти лет, другим – по несколько месяцев, сидели там и заложники, числившиеся за комиссией красного террора и за следкомом. Вся проблема в слабом конвое, рассказывал Яков, даже колючей проволоки для ограждения не хватало, а за гвоздями для ее пришивки направляли аж в Тамбов. Такие вот дела, руководство не охраной занято, а организацией пропагандистских лекций для заключенных, в большинстве своем крестьян. Впрочем, и позже, уже в тридцатых, у нас всегда с арестованными были проблемы: например, на черта было регистрировать в деле все их личные вещи, вроде отпоротых от гимнастерок белых воротничков или золотых коронок? Кому в нашей организации нужны поношенные воротнички? И как я, следователь, мог вырвать изо рта золото, если не я лично выводил в расход, а совсем другой коллега? Впрочем, бывали случаи, когда после расстрела изо рта вытаскивали золотишко, однако насчет воротничков я никогда не слышал.

Если бы я тогда знал, что через несколько месяцев сам чуть не отойду в мир иной из-за этих расстрелов! Громили мы антоновцев, громили, крошили-крошили, и вдруг товарищ Ленин задумался: правильно ли это? И заявил о передержках и безобразиях в ЧК, и потребовал наказания виновных (потом такой же трюк повторил Сталин после своих раскулачиваний: написал «Головокружение от успехов» – и снова чекисты во всем виноваты, а у власти руки чисты). Тут меня и схватили за одно место, оказалось, что я чуть ли не главный рас-стрельщик в Тамбовской губернии, местный палач. Призвал меня начальник и заявил, что я превышал свои полномочия. Как так? А так! Разве не помнишь, как расстреливал? Но ведь не сам я это придумал, был приказ начальства. Ты начальство не трожь, ты за себя говори.

Мурыжили целый месяц допросами, хотели по революционным законам, но тут кого-то из крупных большевиков убили, и снова всё стало на свое место. Правда, меня понизили и уже до расстрелов не допускали, перевели на другую, менее престижную работу по подготовке подопечного к расстрелу. Но потом простили и бросили на сложный участок, на ночную работу. Поздней ночью охранники выводили приговоренных на подготовленную поляну, слепили их фарами грузовиков с включенными на полную мощь моторами (еще несколько стояло на улице и тоже ревели во всю мощь) и открывали шквальный огонь.

Собственно, на этом наши функции и заканчивались, – собирать и укладывать трупы в грузовики входило в задачи другого отделения, занимавшегося захоронением. Вскоре пришло распоряжение расстреливать прямо в специальных подвалах. Лично мне эта новая практика нравилась гораздо меньше: не хватало пространства, и лица приговоренных были как на ладони. Одни молили о пощаде и оглашали стены дикими криками, другие гневно плевались и грозили кулаками, третьи тихо молились, упав на колени, некоторые сходили с ума и, брызжа слюной, громко хохотали, почти все страдали недержанием, и от этого в подвале воняло, как в общественном туалете.

Но самым тяжелым испытанием для меня стали штучные расстрелы, к счастью, на этом деле я пробыл всего лишь месяц, здоровье не выдержало, с головой начались сложности. Вроде бы всё выглядело просто: среднего размера подвал, стол с бумагами, стулья, на стене – портрет Сталина (всё это видел входивший арестант и успокаивался, рассчитывая на обычный допрос), никакой суеты, никакой нервности. Я прятался за дверью и при заходе быстренько стрелял в затылок. Удовольствие не из самых больших, в первый раз меня всего забрызгало мозгами с кровью и тошнило несколько часов, всего вывернуло, хотя я уже имел солидный опыт по ликвидации.

Но голь на выдумки хитра, и я выкроил из клеенки специальную маску-накидку, в ней проделал прорехи для глаз и рта – подобные колпаки потом я увидел на фотографиях у ку-клус-клановцев. Всё равно противно и потом всё отмывать, однако со временем я приспособился стрелять в самую нижнюю часть затылка (от этого череп раскалывался редко), на вытянутой руке, не совать пистолет прямо в голову, как я, видимо, с испугу делал на первых порах. С годами эти дела совершенствовались и, когда в сентябре 1950-го я присутствовал на слушании «ленинградского дела» в здании Дома офицеров и всех приговорили к расстрелу, то вдруг из-за сцены вылетели рослые охранники, напялили на осужденных белые саваны и понесли к выходу через весь зал. Зачем такой спектакль? Потом говорили, что для демонстрации силы и могущества органов. Но после смерти Хозяина наступили мои черные дни, и отправили меня в Сибирь начальником лагеря.

…Яков вернулся и шепнул мне на ухо, что у оврага есть яма, так что копать не надо, но перед расстрелом стоит снять сапоги – в хозяйстве сгодятся.

– Ребята! – вдруг спросил бандит. – Закурить не дадите?

Спросил просто, не пытаясь вызвать жалость, ведь мог же сказать: дайте покурить перед смертью, но не сказал, наверное, не верил, что мы его прикончим, любой человек не может представить свою смерть, других – да, но не свою собственную…

За год до смерти меня затаскали по разным собраниям как ветерана революции и ВОВ, обязательно сажали в президиум, и было приятно блестеть всеми орденами и медалями (накануне начищал их мелом). Правда, раздражали пионеры, которые хватали каждого ветерана под руки, словно немощного старца (между прочим, я еще встречался с дамой лет на сорок меня моложе, и еще как встречался!), и волокли к сцене. Однажды я даже пошутил с пионеркой, предложив пробежать стометровку, однако она была непроницаемо серьезна и, наверное, думала, что ей попался чудак, любивший повалять дурака. Конечно, старость – не подарок, с возрастом у каждого из нас всё худшее и странное прогрессирует не по дням, а по часам: растут бородавки, превращаясь в огромные висящие отростки, на шее высыпают мелкие седые волосы, которые трудно выбрить, Иногда утром обнаруживаешь на носу одинокий черный волос – а ведь всегда был шатен! – нарастают опухоли в кишках, камни в печени, разные полипы в заднице, и бешено растут самомнение и осознание своего

собственного неповторимого вклада в историю, обидчивость, нетерпимость, раздражительность – все-таки я не такой тупой и имею чувство юмора, как говорил просвещенный сын. Думаешь, что ходишь бодрым шагом, а на самом деле плетешься, как старый осел, становишься ниже ростом, непроизвольно сутулишься и смотришь в рот сыну, которого раньше учил жизни.

В свободное от магазинов время читал классику, иногда листал современную прозу и даже стихи (раньше ничего, кроме Пушкина и Лермонтова, не читал), однажды наткнулся на некоего Томаса Стернза Элиота (классик двадцатого века, как написано в предисловии):

«Тебе надоест
Рожденье, и совокупленье, и смерть.
Жизнь такова, если в трех словах:
Рожденье, и совокупленье, и смерть».

Только полный дурак мог такое написать, в конце концов, после первого же совокупления мог бы и повеситься, а не клепать до преклонного возраста заумные стишки! Лишь безответственные пачкуны столь скудно определяют жизнь, которой они, обожравшиеся богатеи вроде Элиота, между прочим, пользуются во всю ивановскую, заделывают детей собственным горничным, держат спиртное в подвалах и глушат его, когда взбредет в голову (недавно видел фильм, где король купался в бочке с вином). Развлекаются на скачках, охотятся на лошадях за лисицами и стреляют в них на ходу, а потом берут в руки перо и начинают философствовать на кофейной гуще… тьфу!

Сколько мы поломали копий с сыном из-за Сталина!

Алекс в споре нетерпим, и чуть ли не меня единственного обвинял во всех преступлениях, а ведь в юности он сам относился к Сталину с благоговением, читал со школьной сцены «мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе…» Исаковского, и даже по-украински (ведь изучал эту чертову мову недолго, когда меня на год бросили начальником лагеря под Житомиром) «Людина стоіть в зореноснім Кремлі, людина у сірій військовій шинелі» Павла Тичіны. После двадцатого съезда Алекс возненавидел Сталина, зато поклонялся Ленину и считал, что мы нарушали ленинские нормы, и из-за этого вся страна превратилась в ГУЛАГ. Когда наши танки вошли в Прагу, сын впал в такую депрессию, что написал заявление о выходе из партии (я уговорил его порвать и забыть об этом случае).

Рад бы я проводить целые дни с внуком, но с годами он от меня отдалялся и не жаждал ходить вместе на каток или в театр. Звонил редко и всегда что-нибудь просил, например, предоставить ему на вечер квартиру для сборища класса (представляю, как бы напились! совершенно очевидно, что все другие родители отказали, а он выбрал меня, дурака!). На все мои вопросы об успеваемости, здоровье, планах на лето (прямо скажем, неоригинальные) отвечал грубо вроде «ну эту школу к черту, надоело учиться!»

Мне кажется, из Сергея вышел бы хороший хозяйственник, нужно ему после школы определиться на какой-нибудь экономический факультет, а ему всё равно, совсем не заботится о будущем – так всегда бывает, когда одно дитя в семье, да еще и с отцом в командировке. Сложный характер, вот и на мои похороны не захотел идти, еле Алекс его уговорил.

Что мы с ним не поделили?

Конечно, я был иногда зануден со своими нравоучениями, хотя трудно представить деда или отца в роли одобряющего всё попугая, но всё же я часто делал ему подарки, вытаскивал на каток и гулял в парке. С Павликом тоже не просто, и всё его поколение для меня загадка, хотя им и шестнадцати еще нет. Но поймет ли он, чем он обязан моему поколению? Ведь мы штыками добывали для него счастье, если бы не мы, то так и остались бы всей семьей батрачить.

…Затянули мы слишком. Солнце уже начинало медленно угасать, и мир вокруг стал отчетливо контрастным, тщательно выписанным, как на картине, каждая ветка, каждая травинка окрасились в свой неповторимый цвет, под игрой света и тени заиграла муравьиная куча, и вся трудовая компания энергично задвигалась, захлопотала, перетаскивая вверх и вниз разный хлам. Яков махнул рукой: мол, пора, и так уже вечер. Мы взвели затворы, наспех прицелились, метя кто в грудь, кто в голову, и ухнули почти разом – его отбросило спиной на землю.

…Алекс сидел рядом в черной рубахе с короткими рукавами и держал мою руку, я иногда легко сжимал пальцы: не решил бы, что я уже умер.

Когда выстрелили, я дал ему пальцами понять, что всё кончено, но он, видно, не понял и смотрел мимо меня, куда-то рядом, на капельницу, которая обогащала мою остановившуюся кровь витаминами и прочими лекарствами. Он смотрел на капельницу и, наверное, думал, что невозможно сидеть рядом со мной целую вечность, сжимая руку, все равно когда-нибудь это закончится, иногда он смотрел на меня, тогда я пытался раскрыть глаза и показать ему, что еще жив, но у меня ничего не получалось, словно их специально залепили.

Он спешил, он не знал, что, если уйдет, я тут же умру, а я никак не мог дать ему это понять, никак, хотя и очень старался. Разговор был важный: ведь, когда я еще был в сознании, то лишь успел ему сказать, что, мол, плохо дело, кто же за мной будет ухаживать, если я парализован или просто болен? Казалось, что я выживу, я вообще не верил в смерть и думал, что пронесет.

Или я умру, даже этого не заметив, хотя я обратил внимание на тревожное лицо врача.

Тамбовский волк, которого мы укокошили, антоновская сволочь, его лицо мельтешило передо мной, и дрожал палец на курке.

Ясно, что пребывание рядом с умирающим отцом никому не доставляет большой радости (он не подозревал, что сквозь кроваво-туманную пелену я наблюдал и всё соображал), но и бросать мою руку было не совсем удобно, тем более что я своими слабыми пожатиями напоминал ему о своем существовании. Вошла докторша в летах (наша ведомственная больница ценила фронтовые кадры, они были неприхотливы и проще относились к смерти, чем молодняк, взращенный на сверхпередовой фармакологии, трансплантациях, биохимических анализах и прочих достижениях цивилизации).

«Вряд ли он пойдет на улучшение, – сказала она, – боюсь, что к инфаркту добавился инсульт».

Только бы он не отпускал руку, – и я несколько раз пожал ее, показывая, что всё понимаю и люблю.

Но он отпустил”.

Утром еще в постели я начал продумывать форму, приличествующую походу в консульство. Как свободный лыцарь, воспитанный среди кенгуру, я решил не выходить из образа, натянул бежевый свитер, купленный недавно в “Остин Риде”, накинул поверх него

кашемировый пиджак в белую полоску и втиснулся в “Черчиз”. В это время раздался телефонный звонок и женский голос попросил Алекса Уилки собственной персоной. Звонили из некоего турагентства, интересуясь, куда сэру Алексу доставить паспорт с визой, билеты и все такое прочее. Такого сервиса для VIP-ов я давненько не встречал даже в стране лицедеев, это было как “Сотая секция” ГУМа, гордость страны и всего трудового человечества. Но волшебная палочка работала безукоризненно, и через час передо мною уже красовался пакет, наполненный упомянутыми документами. Тут я подумал: а каким образом в руки турагентства попал мой паспорт? Впрочем, пока я беседовал с папашей розенкрейцером, доступ к моей барсетке был совершенно открыт, что и требовалось доказать. Оставалось изучить фото отеля и номера, разобраться в схеме, на которой стояли стрелочки от аэропорта прямо до места проживания. Вылет планировался не с традиционного Хитроу, а с более удаленного Гатвика, куда я тронулся на поезде со старинного вокзала Виктория и минут пятьдесят дремал на мягком сиденье, иногда листая брошенную кем-то газету.

Птичке оставалось только взлететь, не повредив перышек, и плавно опуститься на полянке, покрытой васильками. Не буду описывать все детали моего перелета, вплоть до скудного завтрака (но с неплохим французским винцом) и согретых салфеток. О, вышколенная вежливость стюардессы, которой рыцарь плаща и кинжала ухитрился послать ослепительную улыбку, вызвав лишь слабое движение правой брови…

Глава девятая, душераздирающая, ибо нет ничего трогательнее свидания с родиной после долгой разлуки

…И никто нам не поможет,
И не надо помогать.

Георгий Иванов

В своих тюремных университетах я иногда представлял свидание с родиной, и каждый раз в тонах слезливых и торжественных, под фуги Баха, под музыку Вивальди, под нежный клавесин, под грохот пушек, под залпы батарей. Обязательно с чтением стихов, с придыханием, с подрагиванием набухших век, удерживавших слезы…

Но.

Не оправдались надежды, и все выглядело механистически пошло, без эмоций.

Трансфер в отель (отделан он был по-европейски [21] , и на его фоне лондонский “Ambassadors” выглядел старым сараем). Никаких красок не хватило бы на описание бара, содержавшего умопомрачительный запас французских вин и особенно виски, такие марки не всегда отыщешь и в самой Шотландии (тогда я еще не знал, как далеко родина продвинулась в изготовлении фалынака).

Бармен посоветовал поужинать в загородном ресторане, где иногда чествовал гостей сам президент. На такси я доехал до кольцевой дороги и вскоре оказался в фешенебельном районе, где раньше за зелеными заборами жировал весь цвет Мекленбурга, теперь эти края разрослись и покрылись особняками, дававшими фору Beverly Hills города Ангелов. Я отпустил мотор и пешочком двинулся через мост к указанному месту.

А вот и ресторация с павлинами-официантами, все в сугубо древнемекленбургском стиле: на столах аппетитные расстегаи, огурчики соленые, маслята и опята в маринаде, семга-люкс, истекавшая жирными слезами благополучия. Красномордый хмырь самозабвенно жарил на мангале бараньи шашлыки, напевая под нос казалось бы забытую мелодию: “Come to me, my melancholy baby, come to me and don’t be blue…” М-да, конечно, я знал из мировой прессы, что революционно-эволюционные реформы несказанно преобразили Мекленбург, но чтобы до такой степени… это как запоздало обрезали еврея, а он потом жаловался: “Знал, что обрежут, но чтобы так обкорнать!”

Я прекрасно помнил хлипкую стекляшку на этом месте, с Эльбрусом гурманства – макаронами по-флотски, уводящими в серое болото пролетарской справедливости. Чтобы забыться, подавали громобойную смесь в плохо запечатанных бутылках, она глушила своим динамитом даже мысли о моментальном циррозе.

Подлетел метрдотель с нежной харей недавно уволенного опера.

– Только для вас лично: сегодня у нас завоз редкостных петушков, помнится, в прошлый раз, вам они понравились, – и он ощерился в улыбку профессионального жулика.

Интересно, когда это я здесь ухитрился пожирать петушки? Странное амикошонство, возможно, даже любезность, вроде как в Англии принято при каждом случае радостно восклицать: “Хорошая погодка, правда?” – или так же радостно: “Какой ужасный ливень!” А может, я уже давно превращен масоном Андреа в безмозглого зомби, который бродит по

ресторанам, пожирая отборных петушков? “Ты знаешь, почему в передрассветный час петух свой скорбный глас являет столько раз? Он в зеркале зари увидеть побуждает, что ночь, еще одна, прошла тайком от нас!”

Оперюга почтительно проводил меня к столику, элегантно отодвинул стул, принес толстое меню в кожаном переплете. Если бы это происходило в “Кафе Ройал”, на затоваренной и зажравшейся Риджент-стрит, а не в затрапезной, пусть элитной, деревушке! В окне я узрел толстую бабу с ведрами на коромысле и пьяного мужика в подштанниках, отливавшего на глазах почтенной публики, – все-таки в стране сохранился народный пафос! Его не победили ни декабристы, ни герцены, ни разные там троцкие-бронштейны-финкельштейны. Винное меню повергло бы наземь даже одноглазого старика Билла, мажорного сомелье отеля “Ритц”: рядовыми бордоскими и бургундскими здесь не марались, баловались “Шато Марго” и “Шато Петрюс”, не меньше. Модные чилийские вина не котировались, из испанских признавали только “Маркиз Касерос”, зато шампанское было представлено так густо, словно тут проходила личная лоза ветреной вдовы Клико и педофила графа Мумма.

Но Алекс не был бы Алексом, если бы польстился на почки соте и на рекомендацию метра – петуха в красном вине – кокован (заметим попутно, что лицемерные англосаксы опасаются вульгарного, но зовущего на бой слова “кок”, и предпочитают импотентного “rooster”, петуха на поджарку). Оказаться на родине и не отведать почти забытых блюд? Причем совершенно новое ощущение атмосферы: не только запах уходящего снега, смешанного с коровьими лепешками, но и физическое возвращение в родной язык, от которого отвык.

Джентльменский набор: белые соленые и прочие соленья (можно обегать весь Лондон, но не найти истинного засола, – сплошной маринад, тоска серая!). Традиционная селедочка с картошкой в мундире, блинчики с зернистой икрой, а потом и с красной, две стопки ледяной и… как у старой подружки Симы (у нее, помнится, открывал плоскогубцами устрицы, случайно завезенные с Дальнего Востока). Где она сейчас? Боже, так ей уже за шестьдесят… Женщины рано стареют, зато мы – вечные фаусты, постучи по столу, папаша!

Солянка сборная, дорога дальняя, солянка сборная, казенный дом, солянка рыбная, тюрьма центральная… Караси в сметане (ах, как ловил их бреднем с отцом! славное было озерцо около лагеря!), караси, караси, не тревожьте солдат…

Оазис на брегах реки (в памяти она осталась пахнувшей сеном, листьями и свежестью) отнюдь не ломился от посетителей, – в прежние времена стены обрушились бы от осады любителей макарон по-флотски. Скромная пара гнедых – госпожи министерши на прогулке, тихо лопотавшие о своих VIPах-ах! – ах! (последние в это время страдали в саунах с массажистками); одинокий старикан с выпученными глазами со сложенной газетой то ли для чтения, то ли на всякий случай, явно ненавистник власти, успевший сдать за хороший куш свою приватизированную дачу; серая, стертая до полной безликости пара семейного вида, абстракция вечной любви, комического погружения пестика в тычинку Вот вошел худой человек в дубленке, постучал хромовыми, с начесом сапожками, обивая снег, снял квадратную кожаную кепку и пригладил кудри перед зеркалом, снова нахлобучил кепку и пошел к столику за метрдотелем.

Время удивительного самоутверждения.

С точки зрения самоудовлетворения, истина и ложь равнозначны, это и печально (опрокинул стопку и закусил огурчиком, в смысле – я). Думать о блаженном будущем не

хотелось: сразу представлял себе удивленного Сергея, не видевшего отца… сколько? Теперь ему уже под сорок, если не ошибаюсь. Как ему могли объяснить мой неожиданный уход с горизонта? Без вести пропавший или погибший при… – лучший вариант, внезапный инфаркт – худший. Почему не давал о себе знать, папуля? Мешали дела шпионские? Тут я вспомнил, как в шестилетнем возрасте он орал на меня: “Вон из дома, шпион!” Слезы обиды подступили к горлу. Словно работал я дирижером в Ла Скала и вдруг вышел с балалайкой на паперть. Ну, а Римма?

Вы ошибаетесь, друг дорогой, мы жили тогда на планете другой.

Сейчас все смотрелось иначе: и ревность моя, и ненависть к ней и к убиенному Челюсти выглядели как причуды прихотливого венецианского мавра. Марта Скавронская, потаскушка из потаскух, переходила от солдата к офицеру, от офицера к князю, а затем прямо в объятия Петруши Великого. И ничего! Крестилась, взяла имя святой Екатерины, сумела взять императора в руки, успокаивала его во время приступов гнева. Правила исправно, стала императрицей, и только злые языки поминали прошлое. Да что эта распутная немка, разве Мария Магдалина не блудила? Разве не простил ее Иисус, и не стала она святой? А ныне христопродавцы вообще считают ее женой Спасителя.

Но не из ревности ты же отправил своего дружка на тот свет, товарищ Алекс, ты убил предателя! (Но неспокойно на душе, намутил воду чертов магистр, зачем все же он вытолкнул меня в Мекленбург?) И тут веселые мыслишки: Мазепа перешел к королю Карлу, предал Петра, а сейчас превращен отмороженными хохлами в борца за независимость. А Учитель? Разве не он на денежки германского генштаба выступал против власти и произвел революцию? Пример святого Петра вообще уникален: сначала заложил Христа (еще не прокричал петух!), во время казней Нероном христиан позорно бежал из Рима, пока не встретил на Аппиевой дороге Иисуса. “Quo vadis, дражайший Петр?” Пришлось вернуться и погибнуть за правое дело. Были ли предателями Петэн во Франции или Квислинг в Норвегии? Они утверждали: сотрудничество с фашистами помогло уберечь нацию. Сохранить красоту Парижа и Брюсселя, избежать разрушений. Резонно. Вот Мекленбург гордо не сотрудничал, и треть страны превратили в прах. Почему Муссолини повесили, а потом перевесили вниз головой (чтобы осчастливленному народу удобнее было плевать в его физиономию), а генералиссимус Франко мирно почил, окруженный почетом и любовью? Что-то сегодня настроен я всепрощающе либерально. Самое время постричься в монахи и молить-с я в Оптиной пустыни, благо, отсюда несколько часов ходу (если не босиком по дороге дальней).

Впрочем, все эти логические выверты не для Алекса.

Предатель – всегда предатель.

Собаке собачья смерть.

Мы не дрогнем в строю за столицу свою.

Проведу день, как неискушенный турист. Обзор достопримечательностей столицы: рыдания на мощах, пение гимна под бой курантов, скорбное созерцание первобытных костей в историческом музее, обход старинных подъездов и лавочек в Летних садах, куда меня никто не водил.

Кофе оказался с цикорием, не могли не бросить ложку дегтя в дивный обед. Пришлось забить неприятный привкус толстой сигарой Hoy a de Monterrey. Счет в кожаной книжице. Словно и не существовали в недалеком прошлом официантки в грязных фартуках, гортанно выкрикивавшие сумму или, в лучшем случае, слюнявившие чернильные карандаши и

суетливо обсчитывающие прямо на замызганном листке. Под счетом (солиднее, чем в “Ритце”) я обнаружил целый набор рекламы, запасы жевательной резинки и биосалфетку в пластике. Все это я сгреб в карман, прикрыл счет деньгами и захлопнул книжицу.

Рядом с ресторацией оказался рынок посильнее Портабелло в граде Лондоне, продавали товар по баснословным ценам. Упитанные продавцы, одетые в дубленки и даже норки, хромоногие бабульки в бриллиантах, похмельные мордовороты, временами отходившие к своим «мерсам». Бараньи туши, свиные окорока, только что отстрелянные куропатки и вальдшнепы, мясо дикого вепря, медвежатина, оленина, зайчатина (или человечина?). Валенки, мечта аристократа, такие могут присниться лишь во сне, если бы их узрел мой дед, он свершил бы еще одну революцию. Женские красные, расшитые цветочками, мужские стильные с портретами Че Гевары по бокам… И снова праздник цветов – как в Ницце Bataille des Fleurs – во всех видах, воистину сражение цветов! Среди посетителей сновали хорошо одетые молодые девицы, смотревшие не столько на прилавки, сколько на покупателей, – о, этой роскоши и не снилось роскошному “Харр од су”, боюсь, что выбор дам даже в лондонской царице ночи – кабаре “Уиндмилл” уступал по вкусу и по свежести. Но почему такие запредельные цены? Жулят! Ну, а разве те, кто счастливо проживает в близлежащих коттеджах, не жулят? Кого тут больше – хозяев или их охранников? Все воры и разбойники, все точат зуб друг на друга, все каждую минуту ожидают контрольного выстрела в голову. Построили новое общество. Молочные реки с кисельными берегами. По рекам плыли полные чарки с халявной водкой и столовые тарелки со слабосоленой семгой – разве не победа великого учения, о которой мечтали на семинарах, цитируя Томаса Мора и Кампанеллу?

Что ж, вернуться в отель, снять машину и умчаться по кольцу по золотому? На волю, в пампасы. С правосторонним движением, оставшимся только в далекой памяти, от правой стороны я отвык и постоянно крутил головой, опасаясь попасть под колеса какого-нибудь забулдыги. Рискованно, к тому же, по слухам, порядок на дорогах поддерживался драконовскими мерами: на каждом перекрестке стояли инспектора (в Лондоне я вообще видел лишь обходивших парковки мирных дядечек, штрафующих за неуплату по счетчику), требовавшие, бравшие, каравшие, вымогавшие.

И не выпить, и не закусить (хотя, писали, каждый третий водитель пьян в стельку, – грубо, в Англии звучит элегантно: “пьян, как лорд”), и это при неизбежной буре эмоций в груди. Поразительно, что я еще помнил станцию электрички, – ведь пару раз мы с Риммой тряслись сюда с лыжами, и совершали спортивные чудеса.

Я перебежал через шоссе, забитое престижными иномарками, углубился в просеку и вышел прямо к станции. Тут уже жизнь не казалась праздником, который всегда с тобой, вокзальчик совершенно не изменился, оставшись убогим сараем. В кассе торчала продавщица билетов, толстая харя, на стенах упражнялись в паскудном граффитти угривые тинэйджеры. От шаткого туалета несло, на перроне валялись пустые пачки из-под молока, окурки, обрывки газет и даже засохшие цветы (представим рыцарей перрона, мечущих копья в тычинки лилий морозной ночью на скамейках!).

Подкатил поезд, оттуда вывалили людишки совсем из другого мира, чем в ресторане и на рынке, вторая свежесть и даже третья, знакомые лица, которые я хорошо помнил по прошлому. Полные сумки, обилие тележек на колесах (в мое время они считались верхом зарубежного пижонства), большинство – старики и старушки в потрепанных куртках и пальто. Пара молодых мужиков, тут же потянувшихся к забегаловке рядом со станцией, и –

оптимистический удар кистью по мрачному холсту – две длинноногие школьницы (слоновые ляжки) с лыжами в руках.

Внутри вагона не пахло комфортом, хотя и было натоплено, клеенчатые сиденья зияли темными заплатами на вандальских надрезах, тут любили пофилософствовать ножичком, частенько путая сиденье с грудью путешественника. Народу было немного, я прошел в конец вагона и углубился в чтение расписания – как бы не махнуть мимо. Дверь из тамбура распахнулась, и театрально явился инвалид на одном костыле. “Великий наш русский учитель, граф Лев Николаич Толстой, – пел бедняга, не жалея ни своего голоса, ни публику, – ни мяса, ни рыбы не кушал, ходил по аллеям босой. Жена его Софья Андревна, обратно, любила поесть…” Боже, ничего не изменилось, помню эту арию еще в послевоенные годы, когда раненые и демобилизованные места себе не находили, пухли от голода, промышляли разбоем и радовались жизни: все-таки война закончилась, и это было самое главное. Антикварная картинка с поющим инвалидом сменилась сценами из беспорядочной, как загулявший баран, рыночной экономики: бабка, торгующая газетами, молодой коробейник с зубной пастой, проездными билетами, дешевым мылом, кремом для лица и средствами для разгребания снега на даче. Снова проворная бабка с сигаретами всех сортов, за ней толстуха в лисьем полушубке, с чулками и носками на борту, визжавшая “Галантерея!”, словно ее душили.

Приехали.

Все стадо возбужденно ринулось к дверям, расталкивая друг друга локтями, дыша гнилыми зубами, духами и перегаром.

Вокзал изрядно перекроили внутри, на площади, рядом с памятником Буревестнику разбили большую стоянку для машин (стояли сплошь иностранные марки, в свое время даже один такой кар собирал бы вокруг себя десятки зевак). Сразу бросились в глаза неведомые доселе вывески “Обмен валюты”, это выглядело, как страшный сон: в свое время фарцовщиков презирали и с любовью расстреливали. Реклама обуви, реклама концертов популярного певца (с афиши лыбился педик с уклоном в некрофилию), реклама недвижимости, тетки и девки, назойливо сующие в руки листки с рекламой фирм и услуг, ларьки с фруктами, соками, со жвачкой и сникерсами (остановись, сникерсни, етм, етм!).

Молодая деваха, кровь с молоком (еще не вечер, но уже…) предлагала рекламу туристской фирмы с просьбой зайти и гарантированно выиграть тур в Париж. Я поблагодарил и прошел с улыбкой мимо, но, видно, на физиономии моей лежала печать оленизма, и она увязалась за мной, расписывая парижские прелести, и отстала, только когда я бросил: “Неужели я так похож на дурака?” А ведь похож. Тут же светски подошла дама в черной шляпке и потертом пальто (думал, что будет уговаривать купить могилу на престижном кладбище) и предложила жареные пончики, сунув их под самый нос, аж оставила жир на кончике. А тут подсуетилась мороженщица со своим лотком [22] .

Минуя светофор за светофором (уйма машин двигалась по воле волн, не соблюдая никаких правил), перескакивая через кучки собачьих фекалий (еще не доросли до западных совочков и пластиковых пакетов), я начал продвигаться к заветной улице Буревестника, дабы выйти в самый центр столицы. Однако улица исчезла. Прогрессивная мэрия, имевшая по странной причине правительство, – я, дурак, думал, что правительство в стране бывает лишь одно, – не жаловала Буревестника, считая, что он накликал, как и вся совестливая и слюнявая интеллигенция, кровавую революцию. Сначала сочинял оды разным соколам, поигрывал с Учителем в шахматишки на Капри, потом хлопал по голенищу Усы. Трясясь от

страха за границей, придумывал себе туберкулез и прочие болезни, но отец родной не дремал, заманивал, мол, народ соскучился, ждет не дождется. Возвратился, глупец, в Мекленбург на радость трудовому народу. Радовался рабскому труду зэков (перевоспитание! создание нового человека!). На самом деле, благородный был человек, продвигал писателей из народа, сочувствовал страданиям и частенько плакал. Вот если бы больной старик выкатился к мавзолею Учителя с лозунгом “Власть Учредительному Собранию!”, правдолюбцы успокоились бы. За что получил бы пулю в лоб и проклятия нации. Заметим попутно, что при диктатуре после Усов вершиной достижений правдолюбцев была вонючая кухонька, где можно было пошептаться с соседом на темы ямба и хорея, включив воду в ванной и заложив на всякий случай задницу ватой (наутро, опередив соседа, донести на него куда следует).

Теперь гордо красовалось Мирская-Вдоль-По-Городской, явно плод коллективной фантазии местной директории. Я медленно двинулся к центру и неожиданно уткнулся в шикарный “Шератон” (ранее тут громоздились аляповатые кирпичные здания), вошел в подземный переход, там две девицы под окном пели на два сиплых голоса фронтовую песню, дожидаясь своих трех танкистов. Еще один новый готель, не хрен собачий, а “Мариотт”, – догоним и перегоним США по “Шератонам” и “Мариоттам”! А вот и дуб заветный – номенклатурный дом, где до последнего времени проживал Самый-Самый, недавно переехавший на личную улицу, где обитало все правительство (большая ошибка, никто не ненавидит сильнее, чем друзья и единомышленники). О, книжный магазин, украшение дома!

Что останется от тебя, когда дом покроют мемориальными досками? А некоторым еще с бюстиками, что добавит шарма в компанию кондиционеров.

Я заскочил в районную поликлинику рядом (знаменита визитом туда вельможного соседа с просьбой записаться – больше там его не видели), там вроде бы находилась аптека, помнится, во время учебных занятий по наружке я покупал там аспирин (легенда). Я вошел – это оказался православный храм, очень скромный, не пафосный (на лестнице попадались бледные молодые люди в рясах). Уже началась вечерняя служба. Я купил свечку, намереваясь поставить ее во здравие всех и себя лично. Сбоку подбежала крючконосая старуха и с недовольным видом начала что-то мне внушать шепотом – желтые брызги летели в ухо. Я уловил сквозь клекот, что заслонил (кого-то или чего-то), от зловещей старухи несло отнюдь не “Шанелем”, и вообще ее появление разрушило мой божественный настрой. Словно в светлый храм, где под орган Баха совершается литургия, вдруг вбежал голый кордебалет.

Я так и не зажег, и не поставил свечку, показался сам себе отвратительно фальшивым, вышел быстрым шагом вон.

Убийца, мечтающий по дешевке получить индульгенцию, хитроумный лицемер – как я мог судить бывшего Самого-Самого или нынешнего Самого-Самого, если сам… Разве я не грешен? Еще как! С этого и нужно начинать, а то в чужом козле соломинку мы ищем, а в своем не видим и бревна. Глубоко внутренним подтекстом, мало связанным с мозгами, я возвращался к папашке розенкрейцеру и всей истории засылки меня в родные пенаты. Показались полной мурой рассуждения о всеобщей людской связи и зависимости одного греха от другого. Сверлила мысль, что все путешествие связано с Челюстью, точнее, с его прахом (или восстанием из праха). Неужели меня заманили? Для чего? Разве я не получал приказ от руководства Монастыря найти и прибить Крысу? Строй изменился с тех пор, но приказы не меняют задним числом.

Бедное сердце, не бейся: серый грозный дом еще Усовой постройки, внизу ранее

блистал спортивный магазин “Динамо” (старожилы не забыли, как футболисты “Динамо” однажды вмазали английскому “Арсеналу”). Но не только сим знамениты эти камни: дом проходил по ведомству Монастыря (для высшего состава), тут жили архиереи, и каждый встречал друг друга огромной дубиной. Даже после войны обитателей частенько чистили, шалили черные воронки во дворе. И жил тут мой большой друг и учитель, заплечных дел мастер и король подхалимов, влезший в самую-самую печень Самому-Самому, дослужившийся до крупных чинов, его превосходительство Бритая Голова.

Совершенно новый ресторан “Патио” (почему не назвать бы просто “Дворик засранцев”?) тянет на иностранщину, обалдели с этими “баксами”, “кастингами”, “картингами” и “керлингами”.

Темнело. Улицу хорошо очистили от снега, постарались. Так было во все времена: центр тщательно приглажен, зато рядом в переулках трещат под градом сосулек проломленные черепа. Я задрал голову и увидел увесистые льдины, угрожающе свисавшие с крыши. Представил белокурую бестию, направляющего сосульку на мой кумпол, представил, прижался к кромке тротуара и убыстрил шаг, – приключения последнего времени сделали меня мнительным психом. А может, я таков от рождения?

Я волком бы выгрыз бюрократизм, да не выгрызть его никогда, – привет тебе, Великий Самоубийца, сжимающий кулак! Слабые души превратили тебя в фанатичного кретина, – разве свиным мозгам понять титанов, умирающих вместе с Утопией: Зигфрид и Брунгильда не сопливятся, как Кавародосси, который никак не откинет копыт (“И вот я умираю…”, а все не умирает), они принимают смерть спокойно и бесстрашно.

Вот и небоскребный памятник любви к Поднебесной, гостиница Усовой постройки, раньше она казалась мне долговязым уродцем, а ныне совсем не эпатировала, наоборот, разбудила померкшие чувства к мандаринам и кули. Часть помещения занимала монастырская гостиница, уверен, блин [23] , ничего не изменилось, организации не в привычках уступать площадь. Я заскочил внутрь: обстановка вокзальная, вокруг толстомордая охрана, пропуска куда-то и зачем-то, парочка милых девиц школьного возраста в костюмчиках от Версаче (в Лондоне таковых не встретить). Первые мекленбургские шлюхи. Событие дня. В прежние времена таких бесцеремонно высылали за пределы города (если, конечно, Монастырь не пользовался их услугами в высоких государственных целях). Я вышел на площадь и приблизился к театрам и залу более приличного Ильича (с мальчиками), вокруг шла оживленная торговля с лотков книгами, дисками и ширпотребом.

Бывало, за углом в гастрономе “Джорджия” в отделе соков я душевно пивал один-другой граненый стакан финьшампаня у стойки. Тихо и скромно гордясь, что нигде в мире столь демократически не торговали шампанским (правда, дерьмовым) в разлив. Разве поверил бы этому буржуа, покупающий “Вдову Клико” в магазине “Харродс”? Увы, “Джорджия” исчезла, как заблудший призрак моих снов, ее заменили магазины с западными витринами, видимо, в правительстве уже перестали воспринимать кириллицу и ожидали папских нунциев, провозглашающих переход на латынь.

На улице разжалованного Буревестника тем временем начинался настоящий парад шлюх, зрелище незабываемое для гражданина, привыкшего к шествию счастливых папаш с детьми на плечах и радостных юношей, тянувших в небо слоганы и портреты вождей. Лихо тормозившие автомобили, разгоряченные морды, слюна, капающая на асфальт. Оживленная мамка отбегала от своего выводка к водителю, короткий размен мыслей (размен чувств будет потом), парочка уточек сноровисто прыгала на заднее сиденье, и машина катилась дальше

навстречу подвигам.

Боже, а где же ресторация еще одной южной республики? Туда было не пробиться, там кормили убойными шашлыками, которые ласкали чрево в зальчике с небольшим, греющим душу фонтаном. Воспоминания: однажды провожали на передовую молодого монаха, испили бочонок вина и пустились в пляс с незнакомками. Виновник торжества зажал в объятиях тощую девицу, она представилась как полька, прибывшая из Варшавы к родственникам, станцевали пару раз и расстались. Казалось бы, в чем драма? А драма в том, что дама оказалась посольской американкой, и ее пасли как зубриху ЦРУ. Разгильдяйство монаха поставило на уши весь Синод: разве нельзя в течение двух вихляющих танцев сделать свое черное дело, завербовать, получить, передать, начать войну, заключить сепаратный мир?

Я не стал искушать судьбу и нырнул в троллейбус, эту тихоходную бричку я всегда уважал: ни громыхания метро, ни завываний автобуса, ни утомительной беседы о жизни с таксистом. Реклама, вывески, названия известных фирм. Видимо, еще немного, еще чуть-чуть – и не будет никакой разницы между Пятым Авеню и Мирской-на-Бобах, многообразие сдастся под беспощадным натиском глобализма-онанизма, разноцветная жизнь превратится в однообразную серую патоку.

Закон Гейзенберга, энтропия, Апокалипсис, точка.

Опустился в подземный переход, где один за другим гремели любительские оркестры (раскрытые шапки лежали на земле), протягивали руки за подаянием молодые и непрезентабельные дамы с грустными глазами (иногда с табличками на груди, взывавшими о помощи). Мрачно сидели слепые и безногие инвалиды, хватали за рукава скорбного вида детишки (отбежав в сторону, моментально преображались в жизнерадостных засранцев). Парад нищеты и безумия капитализма, старина Генрихович обмочился бы от счастья, а Фридрих поднял бы громокипящий горшок за победу пролетариата.

Я вылез на площади, прошел к молчаливым фонтанам, чуть припорошенным снежком зверушкам и прекрасным царевнам-лягушкам, впрочем, это был не зоопарк и не детская площадка, а гигантский торговый комплекс, уходивший ногами в землю. Не самое худшее. Но вот сердце затрепетало, раздулись ноздри в сладком предвкушении, и строевым шагом я торжественно вышел на Застарелую площадь с усыпальницей Учителя, миновав недавно возведенные церковь и каменные ворота. Тут я в юные времена проходил мимо трибун во время демонстрации (Музыку! Музыку!), один раз в завершающей колонне увидел легендарные Усы, величественно сползавшие с мавзолея, низ живота защемило от счастья, и ноги до сих пор заплетаются в гимне. Ныне все вокруг было тихо и покойно, как в гробу, некое декоративное место для наиболее тупых граждан и иностранных туристов. Нет военным парадам, только блаженные улыбки, только слезливое молчание, удушающая немота брусчатки… Наверное, точно так же замерли холодцом накануне Барбароссы, а потом катились колобком до самой Столицы-Мы-Не-Дрогнем-В-Бою.

Универсальный магазин внешне не изменился, но изнутри наполнился жизнью в виде так называемых бутиков. Правда, народ, положивший жизнь ради изобилия, неблагодарно отсутствовал, за отдельными покупателями озабоченно гонялись дамочки, зазывая в таймшеры, – свежая форма надувательства, рождающая иллюзию о заграничной собственности. Я вспомнил времена, когда в моде были пыльники (они же болоньи), горжетки из тушек песца или лисицы, платья из маркизета и бумазеи, фильдеперсовые чулки. Уютные муфты, кисейные накидки на подушки, парусиновые ботинки, которые прекрасно чистились зубным порошком, фетровые и резиновые боты с каблуками. А какое

счастье было прогуливаться в настоящих фетровых валенках!

Неожиданно я очутился в ресторане с видом на Застарелую площадь, это поражало: ведь прежде до ужаса боялись, что из магазина пальнут из самодельной пушки прямо в Святилище или по курантам. Во время парадов и демонстраций всё оккупировали монастырские оперативники и снайперы, строго контролировавшие проход непредсказуемой техники и ликующих толп через площадь. Ныне бар палил всеми пушками “гленов” (куда там лондонским пабам!), я не стал предавать любимый “гленливет”, и погрузился в молт-скотч, размышляя о невыносимой бренности бытия (поразительно, что бармен не положил в молт лед, даже в Великобритании эта тонкость известна лишь истинным знатокам, прошедшим через шотландские университеты). Уже первое прикосновение искушенного языка к тихим водам “гленливета” показало, как далек сей напиток от оригинала, впрочем, ощущение фальшивости постоянно возникало во мне на родине, это касалось не столько политики (сохли уши от всех ТВ-шоу, оптимистичных прогнозов, великих планов на будущее), сколько напитков всех мастей: сквозь крепкие исподволь пробивался дух der samogon, вина же отдавали фруктовыми соками и ушедшим в Лету розовым портвейном, опорой всех алкашей державы. В бар зашел мальчуган лет пятнадцати и обратил просящий взор к бармену, который сочувственно улыбнулся и угостил мальчишку кофе. Все-таки народ наш добр и отзывчив, умиленно думал я, ничто не сделало его душу черствой и неспособной к состраданию, не зря Достоевский писал о всемирности народной души, не зря.

Тут произошло невероятное: виски вдруг стал пузыриться, словно взыгравшее шампанское, вырвался из бокала бурлящим водопадом, напоминавшим брызги шампанского Bolinger у пресловутого Бонда, и обрушился на мои светлые брюки (между прочим, кавалерийская саржа, из подобной ткани после Второй мировой у нас шили плащи до пят, именуемые макинтошами). Событие по гамбургскому счету совсем непримечательное, но вызвавшее ажитацию в баре: бармен ахнул и начал сыпать мне на брюки соль, два посетителя, похожих на захудалых учителей начальной школы, вскочили со стульев и бросились ко мне с салфетками, даже милый мальчуган засуетился и подскочил ко мне на помощь. Вся эта кутерьма прекрасно легла на мои раздумья о народной душе, я долго и глупо всех благодарил, отказался от любезно предложенной новой порции и полез за портмоне. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил совершенно пустой карман. Забыть портмоне в отеле я не мог: ведь уже приходилось расплачиваться и за обед, и за электричку. Выронил по дороге?

– Извините, я забыл дома деньги, – сказал я бармену, покраснев как кумачовый флаг. – Извините, я занесу попозже…

– Что вы! Что вы! – замахал он руками. – Ради бога! В сущности, мне должны ваши брюки, отведавшие хороший молт, так что спишем на форс-мажор.

Я вышел на улицу, я шел, как во сне, я не знал, что предпринять – шутка ли, оказаться без гроша в кармане! Искать банк, но уже поздно. Звонить Андреа в Англию? Абсурд. Дожидаться завтрашнего дня? Мысли прыгали с одной на другую, возвращались и неизменно застывали на главном: неужели заманили? Если да, то зачем? Расплачиваться за грехи отца и может быть, всего рода? Я кожей чувствовал за собой наружку, хотя не видел ничего конкретного, ничего подозрительного, словно на одной из планет был запрятан Большой Глаз, поворачивавшийся вслед за мной. В этот момент мимо меня пробежал молодой человек в свитере и джинсах, бежал он легко, чуть-чуть подпрыгивая на ходу, торопился и не смотрел по сторонам. И вдруг из заднего кармана джинсов вылетело нечто и хлопнулось о землю.

– Молодой человек! – вскричал я ему вслед, но он ничего не слышал, даже головы не повернул.

Я посмотрел на выпавшую вещь и не поверил глазам своим: это было мое портмоне. Я судорожно вцепился в него – деньги и две кредитные карточки (одна “золотая”) лежали на месте. Тут я обнаружил рядом с собой коротко стриженного, улыбчивого амбала, который тоже радовался находке.

– Что, дед, повезло нам с тобой!

Уже одно обращение, пахнувшее онучами и богадельней, к тому же без привычки (в лондонской тюрьме никто не подчеркивал разницу в возрасте даже из самых добрых побуждений) привело меня в бешенство.

– Это мое портмоне! – заявил я твердо.

– Ты что, отец, от счастья спятил? – искренне удивился амбал.

– Мое, мое! – настаивал я тупо.

– Ну, ты и хмырь! Разве эта штука не выпала из штанов пробегавшего чувака?

– Все равно мое! – аргументация не отличалась блеском.

– Первый раз такого чудака встречаю. По закону положено находку делить.

– Да она мне принадлежит!

– Чем докажешь? – настаивал парень, улыбаясь, но уже зловеще.

– Там мои кредитки.

– Чем докажешь, что они твои? А пин-коды помнишь?

– Вот сейчас вызовем милицию и разберемся! – отрезал я.

Глупый, постаревший Алекс, разве ты в прошлой жизни не хохотал над слабаками, призывавшими милицию в любой экстремальной ситуации? “Милиция!” – кричал честный пенсионер, у которого свистнули в трамвае двадцать копеек. “Милиция, караул!” – вопила тетка вслед мотоциклисту, сорвавшему с плеча сумочку. “Милиция!” – орал пьяный под ударами тинейджеров, обшаривавших карманы. Моя милиция меня бережет. Тут вдруг появился тот самый прыткий молодой человек в джинсах, вырвал у меня портмоне и раскрыл его.

– Да тут было в два раза больше! Куда ты дел все, гад? Давай зайдем в этот кабак и разберемся!

Кабак оказался часовой мастерской, правда, часовщику не хватало лишь черной повязки на глаз, чтобы выглядеть пиратом Сильвером, в примыкавшую комнатушку мы втроем и заскочили.

– Вот что, старче, добавляй сюда ровно украденную половину, а если нет нала, бери кредитку и вынь из банкомата! Какой же ты сукин сын!

От быстроты и неординарности событий мои мозги стали на ручной тормоз, сообразительность, присущая герою зарубежных гор и долин, бесследно испарилась, и я передвигался в мерцающем тумане, смутно соображая и отображая. Тем не менее выражение “сукин сын” оказалось красной тряпкой, подвигшей быка на атаку двух тореадоров: неожиданно для себя я прыгнул и ногами (не ощущая подагры) нанес несколько эффективных ударов по челюстям подонков. Они рухнули и тут же ретировались, не успев прихватить свои разломанные зубы.

Куда нам плыть после столь умопомрачительного события? И нужно ли плыть вообще? Остановись, путник, замри вместе с мгновением, пережди эти часы в пустоте и покое. В растерянности я заскочил в уличное кафе и заказал томатного сока, грустно вспоминая, как

во время демонстраций, упросив соседа подержать портрет с очередным вождем, мы забирались в вонючие подъезды и самозабвенно глушили водку прямо из бутылки. Пели песни – утро светит – прощай любимый город – страна моя, ты самая любимая – где любимый Усатый живет. Танцевали в скверриках под баян, девушек не прижимали, и так и шли до самого конца, до апогея, а потом все рассыпалось, превращалось в отдельных людишек, несущих постеры и портреты, и уже не было ощущения единства – так и Держава обломилась, утратив напряженность порыва. И не надо искать всемирного счастья, корежить свою и чужие жизни – ведь на земле и так всего достаточно, надо только уметь разглядеть и осознать. Да, да, маленькие радости: внезапно исчезнувшая мозоль, ночная луна, великолепный поцелуй после кружки пива, опять же берлингтонские носки… Слаб и прихотлив хомо сапиенс, все его тянет в вышину, а жизнь с улыбкой несется мимо, и только у гробовой доски понимаешь, что ты ее, в сущности, пропустил.

Томатный сок взбодрил меня и снял неприятный осадок после тошнотворного происшествия. На улице вдруг засветило яркое солнце, я покрутился, прошел мимо Peter Iljich с игривыми мальчуганами и свернул на знаменитый бульвар, удивляясь, что в нашем суровом климате деревья не превратились в сухие пни. Еще бы не удивляться, если знаменитый бульвар Сен-Мишель в Париже давным-давно выродился в обветшалые кущи, а Булонский лес с мифическими рыжиками отдыхает на фоне парка имени Буревестника, и это при вполне приличном французском климате. Навстречу стадами шли хорошенькие фемины, их вид ослеплял, давил, возносил к небу, и хотелось валить и валиться на траву, загонять на березки, гнаться за ними по веткам деревьям, взлетать и ловить за хвосты на пути к луне. Вот одна коснулась пуговиц на своем пальто, и оттуда сверкнула голая грудь… что такое? Что за бред? Неужели я не выпустил пар в Лондоне, и продолжается посттюремный синдром?

Я энергично двинулся в подземный туалет на бульваре, недалеко от памятника великому ученому, очень похожему на одинокий перст, но с удивлением обнаружил, что оазис преобразился в магазин, торгующий шмотками. Где обрести желанный покой? Раньше в подобных случаях я напускал на себя важный вид и, не замечая швейцара (если он преграждал путь, приходилось верещать по-английски, – это помогало), входил в дорогой отель, где можно было отвести душу в комфортабельных условиях. Но в данных обстоятельствах путешествие в роскошь заняло бы время и грозило непредсказуемыми последствиями, поэтому пришлось прогалопировать к Музею Изящных Искусств, купить билет и обосноваться в скромной кабинке заведения рядом с гардеробом.

Глава десятая, терапевтическая, пургено-мезимо-неотразимая

И конечно, жизнь прекрасна.
И конечно, смерть страшна,
Отвратительна, ужасна,
Но всему одна цена.
Помни это, помни это —
Каплю жизни, каплю света…
“Донна Анна!” Нет ответа.
“Анна, Анна!” Тишина.

Георгий Иванов

И в былые времена с туалетами было туго, однако публика отличалась изобретательностью, любила в этих целях использовать дворики и подъезды, и никому в голову не приходило, что на туалетах можно делать деньги, и немалые. Да и как могли появиться подобные крамольные мысли, если не за горами располагалось норковое светлое будущее с бесплатными лобстерами? Я сам, временами срываясь в пропасть агностицизма, все же верил, верил в образ Нового Человека, и теперь было обидно за бесцельно прожитые годы, выброшенные на иллюзию…

Я вышел к гардеробам и поднялся по мраморной лестнице в зал. Как и десятилетия назад, группа школьниц с любопытством лицезрела гигантского Давида, иные для разнообразия переходили к конной статуе венецианского кондотьера Коллеони и пялились на выдающиеся гениталии лошади. Помнится и я, впервые открывая для себя импрессионистов на экспозиции трофейной Дрезденской галереи, тоже не избежал этого искушения, – в те времена даже скромная картина Буше с полуобнаженной дамой вызывала трепет, она висела в ныне почившем Гранд-отеле, в потаенном углу комнатушки, о которой знали лишь посвященные посетители. И ныне зал импрессионистов импрессировал, вот они, экзотические таитянские картины Гогена, голубой и розовый Пикассо, яркие пляски Матисса. Мурлыча под нос Вертинского (“о, как это было давно, такое же море и то же вино”), я прошел сквозь это великолепие и с болью констатировал почти полное отсутствие эмоций: за плечами были Коннот-коллекция и Тейт в Лондоне, Рикс-музей в Амстердаме, несравненный Прадо. Душа моя явно постарела и уже тянулась к добротным старым мастерам, даже барбизонцы тяготили, и только около Рембрандта и единственного Гойи я задержался на несколько минут. В голове обозначилась заповедь Поля Валери, не выносившего переход от картины к картине без прямого стека и кривой трубки: на нашу душу хватает и одной хорошей картины, невозможно проглотить сразу двух жареных вальдшнепов, не утратив вкуса радости.

Вид туристов, особенно толстых американок, пылко записывающих в блокноты название шедевра и полное имя художника (естественно, годы рождения и смерти), всегда отпугивал меня, я сразу представлял их на техасском ранчо, за курицей а-ля Кентукки, рассказывающих добродушным соседям о “Купальщицах” (“представляете, они в купальниках!”). Размышления по поводу курицы пробудили желание хорошо поужинать,

причем сделать это в когда-то любимом отеле с фонтаном и зеркальным потолком, щелкнуть отполированными ногтями, призвать служителя и повелеть выловить из фонтанных вод голубую форель, присовокупив к ней бутылку финьшампаня. Я вспомнил визит туда с Риммой, мы оба светились в белом каракуле: Римма – от шапочки до пят, я же в каракулевом воротнике на синем драпе, прикрытый сверху тогдашним писком моды, чехословацкой шляпой “Тонак” с ковбойскими полями. Стол заказывал через коллегу, обслуживавшего гостивших в отеле иностранцев, потому хам швейцар был с нами предельно предупредителен и повесил пальто не на обычные крючки, а на импортные вешалки…

Вышел из храма искусств и оказался на набережной когда-то сравнительно чистой речки, где многие любили поплавать после пары кружек чешского пива в павильоне – гордости парка имени Буревестника. А потом поваляться на зеленой траве пузом вверх вместе с блаженствующими на солнце согражданами, не подозревающими о прелестях Лазурного Берега. Полюбовался на знаменитые соборы и башни на другой стороне, важно перешел через мост и добрался до станции метро, построенной во времена моего вынужденного отсутствия. Вид метро вызвал во мне новые приступы патриотизма: сразу вспомнилась подземная нью-йоркская жуть, где и не пахло мрамором, мозаикой и статуями, а вечерами приходилось путешествовать лишь в цветном окружении. Причем африканские американцы (по-старому – негры) сверлили затуманенными наркотиком взглядами, видимо, прикидывая, на каком этапе приставить нож к горлу и отобрать кошелек. Парижское метро тоже переполнено пьяными клошарами, нагло требующими на бутылку, и вездесущими карманниками, а вагоны лондонской “трубы” к вечеру напоминают мусорную свалку: свободолюбивые англичане считают делом чести швырять на пол газеты, банки из-под пива, кока-колы и тутти-фрутти.

Катался по метро, как мальчишка, дорвавшийся до свободы. Иногда выходил на станциях и ахал при виде красноармейцев и крестьян с винтовками, мозаичных картин, посвященных дружбе когда-то единых народов. Хотелось тут же схватить пулемет и разогнать всех самостийников, а особенно зажиревших баев – бывших партийных боссов, их бы приодеть в цветастые халаты и пустить в расход прямо в сухой пустыне. Нынешние станции уже не поражали роскошным барокко, зато отличались благородством линий, световой гаммой и ничем не замутненным простором. Вдруг раздались звонкие удары, надрывные, надвигающиеся прямо на меня: некий предмет со свистом пролетел прямо рядом с моей головой и поскакал вниз, ударяясь о фонари, пока эффектно не разбился на мелкие куски прямо у ног всполошенной смотрительницы. Это была пустая бутылка, проплывшая мимо группа гоготавших отморозков не скрывала своего авторства. Обычные хулиганы, резвящиеся после школы. Не покушение же на драгоценную жизнь Алекса! Господи, от этой странной череды событий я постепенно становлюсь мнительным кретином и скоро буду постоянно вертеть головой, выискивая в толпе своего Брута. Ведь до самого последнего времени я смотрел на все происходящее со мной (и со всей планетой), как на хаотичный (и очаровательный) поток случайностей. Они, как горная речка, катились вниз без всякой определенной цели, вдруг налетали на вздыбленный камень, ловко обходили его, убегали в боковые притоки, не подчиняясь никаким законам и целесообразности. Вера в непобедимость Случайности всегда придавала силы в моей опасной деятельности, я не верил ни в какие заговоры, которые можно реализовать по хитроумному плану.

Конечно, заговоры существовали, но в несовершенных руках человеческих они обычно превращались в свою противоположность и в любом случае настолько видоизменялись, что

уже развивались по сценарию, далекому от первоначального замысла. Разговоры о масонах, наследниках тамплиеров [24] , вершивших миром из своих тайных штаб-квартир, вызывали у меня только смех, и никто не мог убедить меня, что революция под водительством Учителя была заговором мирового еврейства или происками германского генштаба. Ведь и Троцкого, и многих других евреев эта революция и проглотила, превратившись в большой каток, мощно проехавший по нации, особенно в нашей респектабельной организации, где они первоначально грозно доминировали. Ну, а генштаб рухнул вместе с кайзером уже в 1918 году под натиском германской революции (тут тоже пригодились денежки кайзера). Так я размышлял, поднимаясь на некоторых станциях и вновь опускаясь вниз и переезжая на другие, радуясь скульптурам, бюстам и витражам, продвигаясь к тем местам, которые уже я проходил. Вышел снова на станции Поэта-Самоубийцы, тянуло, словно сам себе готовил такое будущее. Близ метро толпилась ликующая молодежь (и в мои времена там назначали свиданки с гуриями), аристократы с хатой предварительно шагали в ныне разрушенный пивной бар на площади Нашего Всего, которого ухай-дакали на дуэли. От площади я двинулся старыми переулками, которые оказались на удивление неплохо отреставрированными (все-таки кроме скромного обаяния, у буржуазии имеется и здравый смысл, и стиль жизни). Приют патриархов (рядом с прудами торчал распухший от обжорства дедушка-баснописец вместе с умиляющими зверушками из его шедевров) почти не изменился, и это тоже радовало. Сугубо партийная гостиница на пути к Булеварду приобрела экзотическое название “Марко Поло”, скромный театр имени Нашего Всего, уже на Булеварде желтел, как больной гепатитом.

Переход “зебра”, на котором еще не успели окочуриться все наивные бабушки, поверившие в приверженность водителей ПДД. Черная ограда, окружающая Булевард, и тут же новый памятник другому поэту-самоубийце, наложившему на себя руки через повешение в фешенебельной питерской гостинице. Славно вытертые скамейки, на которых летом сиживали бабушки и играли в шахматы пенсионеры-умники, детская площадка с выводком энергичных огольцов, лакирующих задами горку.

Я плюхнулся на край скамейки и прикрыл уставшие очи. Краем глаза я увидел, как на меня надвигается растекающиеся облако, оно приземлилось на другом краешке скамейки и шумно вздохнуло. Я сделал вид, что наслаждаюсь зеленью деревьев и увидел объемистую задрыгу невнятного возраста и кислой наружности, буравящую меня зрачками с явной целью завести разговор.

– Что, Алик, неужели не узнаешь? – молвило чучело и расплылось в приглашающую улыбку.

– Извините, – сказал я с акцентом, – я плохо понимаю.

Черт побери, конечно, здесь не Гайд-парк, скопище леди и джентльменов, не привыкших заговаривать на скамейках, но существуют же и элементарные приличия. Я сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей и стал сосредоточенно рассматривать свои ногти.

– Ты что, Алик, совсем охренел? Или уже ослеп?

Акцент явно провинциальный, такие дамочки не гоняют по страницам “Улисса” Джойса, наслаждаясь спотыканиями Леопольда Блума на скорбном пути по Дублину, но они отлично ориентируются в быту и получают в жизни самые аппетитные куски пирога. Я вгляделся в огромную груду мяса, увешанную драгоценностями, но ничего не смог разглядеть – так Амундсен тревожно всматривался в снежную бурю в надежде узреть цветущие пальмы.

– Вы меня имеете в виду? – Я сделал морду удивленной лошади, случайно забежавшей поесть сенца на детской площадке Булеварда.

– Неужели я так постарела?

Это прозвучало угрожающе и заставило меня напрячь до предела всю свою зрительную систему. Но тщетно. Ничего не вырисовывалось, кроме той же самой груды.

– Да Клавдия я, Клавка! – простонала она. – Разуй глаза, босяк ты этакий!

Такое амикошонство встряхнуло меня и даже отбросило на спинку скамейки, по мозгам суетливо пробежал судорожный ток: передо мной была старая подруга Риммы Клава-Мохнатая-Рука.

– Куда ты исчез? Куда пропал? – загалдела она.

– Это целая история… – Я опустил глаза и вздохнул, в агонии думая, как бы улизнуть от давней подруги. – Как-нибудь встретимся вместе с Риммой…

– С Риммой?! – Она даже захрипела.

– Конечно. Я ее еще не видел.

– Ты ничего не знаешь?!

– А что?

– Она умерла…

Я застыл, боль пронзила меня насквозь, первые секунды я даже не сознавал, что произошло.

– Ты не знал?

Римма умерла. Как это произошло? Почему?

– Давай пройдем со мной, здесь не место. Тебе не нужен валидол?

Идти пришлось недолго: прямо за новым театром имени Буревестника (плод незатухающей борьбы внутри театра № i Великой Державы) обнаружилось вполне жилое здание, моя спутница открыла ключом дверь благополучного вида подъезда, поднялась на второй этаж и ввела меня в прекрасно отделанные апартаменты, всем своим видом напоминавшие процветающий клуб. У самого входа в кухне сидел тип в милицейской форме и пожинал борщ, он оторвался от трапезы и сквозь капусту в зубах попросил заплатить за вход пятьдесят баксов [25] .

– Это со мной! – сказала Клава повелительным тоном. – Ты посиди, расслабься, я к тебе подойду!

Я сразу же очутился в баре, где длинноногие девицы всем своим видом изображали счастье: побрякивали бокалами, делая вид, что пьют дорогое французское шампанское, притоптывали ногами и крутили задками в тон озвученным воплям, способным поднять из могил тысячи смердящих от возмущения мертвецов (возможно, тамплиеров). Самое приятное, что ко мне никто не приставал, смешанные мысли мои не давали мне ни на чем сосредоточиться. Римма умерла. Или все это сон вместе с чокнутой Клавкой и всем с кайфующим зоопарком? Юная дамочка в арлекинском наряде появилась с початой бутылкой виски, синим бокалом и льдом в ведрышке. “Black cock” вызывающе сияло на бутыляге, и для неграмотных у горлышка был изображен черный петух, скорее, фазан, похожий на famous grouse [26] . Я сделал глоток и обомлел: давненько я не пробовал такого пойла, это был даже и не скотч, а смесь керосина с желчью, изготовленная из черного кока самого вонючего петуха. Скорее из любопытства я отхлебнул еще чуть-чуть, пытаясь определить истинные ингредиенты гремучей смеси, однако по всей полости рта прошла атака напалмом, чувствительность ротовых органов атрофировалась, правда, по моему телу пробежал озноб,

словно я окунулся в прорубь.

Римма умерла. Какая нелепость? Когда? Где? И с какой стати? Я сделал два больших глотка, стараясь заглушить боль, охватившую все тело. Клава уже сидела рядом, глаза ее слезились.

– Все это произошло внезапно… сердце разорвалось, хотя она ничем не болела. Наверное, от одиночества… в общем, ни от чего… Божья воля… Не плачь, лучше выпей… ничем не поможешь…

Бедный черный петух (фазан, индюк). А вдруг в прошлой жизни и я существовал в таком же качестве? Чистил перья, тряс зобом и выискивал на земле зернышки и букашки. И вдруг какая-то сволочь – раз-два! – взяла и резанула по горлу ножом. Прощай, любимый город, уходим завтра в море…

Последние годы собственная генеалогия (естественно, глобальная, а не в схемах и легендах-биографиях отдела кадров Монастыря) интриговала меня. Все началось с того, что еще в тюрьме я натолкнулся в Интернете на предложение определить прошлое по параметрам года и дня рождения, раньше такие фортеля не вызывали ничего, кроме смеха – о, позорный оккультизм, гороскопы, Юнг, Гурджиев, Блаватская, гадания на кофейной гуще! Но тут я дрогнул и решил попробовать: в конце концов, что я потеряю, если я уже прожил Ту жизнь? Выпало: японец-геолог в Средние века, житель острова Хоккайдо. Абсурд, конечно, и даже обидно: почему не Ганнибал или скромный князек в Баварии или запорожский казак, сочиняющий письмо турецкому султану? Почему все время наемный служащий, перебивающийся на зарплате, ученый муж – ха-ха! – копающийся в земле и камнях, и никаких тебе Лорелей, певших на скале! Хотя бы писатель средней руки, читаемый интеллигентной элитой, иногда на центральной улице подходят смущенные девушки: “Вы случайно не? Ах, как я счастлива, ведь я мечтаю о вашем автографе! Вам удобно оставить свои координаты?” Римма умерла? Не может быть, дурная шутка, бред загулявшей медузы. Жаждал я жизни всесильного царя, отправлявшего на казнь своих подданных, умолявших их помиловать, но нет! нет! стыдно красть у своего народа, господа, придется платить по счетам своей головой! Римма умерла? Нет, нет! Дефиле из одного дворца в другой (только бы по дороге не взорвала бомбой какая-нибудь сволочь из народа!), прием парада на Тюильри, рывок на крейсере в Вильфранш на Лазурном Берегу.

Но другая жизнь могла быть и хуже, чем у японца: вдруг я был юной наложницей, и меня душили, чтобы положить в гробницу к усопшему фараону. Или добродушным конюхом (объектом жизнелюбия толстого повара) или толстым поваром – таким тоже отрубали головы и клали в саркофаг к шефу А бледного юношу с взором горящим (тоже я) сажали на коня, а потом пробивали их обоих насквозь колом, дабы у могилы красовались живые статуи.

Римма умерла.

Черный кок… неужели? Именно черный, не есть ли это знамение свыше? Намек на грядущие черные беды, черные дни, черные мысли, черные дела. Мне стало тяжко и противно, помнится, такие же зловещие тучи опустились на мои мозги в католической святыне Лурд: никогда в жизни не видел я несметные толпы калек, слепых и немых, глухих и сумасшедших. Больничные кресла-колесницы, прущие строем вперед и вперед, как танки в атаку, неимоверное столпотворение у храма на эспланаде, оглушительная, сокрушающая душу “Аве Мария”. Флаги и вымпелы, кресты и иконы, святая вода из источника святой Бернадетты (жадные пилигримы подставляли под краники пластиковые бутылки), гирлянды из алых роз, метровые восковые свечи, полыхающие на ограде вокруг статуи Богоматери с

младенцем на руках.

Я оторвался от бутылки и огляделся вокруг. Бар веселился. Содрогаясь от нарастающей какофонии воплей, переходящей в томный шепот, зверушки постепенно избавлялись от предметов своего незатейливого туалета. Фасады стрингерш являли собой узоры вроде мошек, они легко слетали на дубовый паркет, застревали в цветных торшерах, свисали с картинных рам. В прежние времена я уже влетел бы в этот физкульт-парад и гарцевал бы на белом скакуне, но мысли о вечности и вообще мысли разжижают волю, особенно если они реконструируют судьбы наложниц в одном саркофаге с фараоном и калек, разъезжающих в креслах на колесах. Все казалось паскудным фарсом, спектаклем марионеток, привезенных из музея восковых фигур, пошлым кривлянием третьесортных путан.

Встал, сделал несколько шагов и застыл у зеркала. Белое привидение с красными глазами. Одышка, словно сутки бежал по Сахаре… Боже, как в один присест я когда-то взлетал на купол собора святого Павла, а потом пил пиво в пабе “The Olde Cheshire Cheese”! Взлетал, как казалось, еле потом спустился [27] , рубашка промокла насквозь, ноги отнялись, обратно ковылял, опираясь на перила, а потом органон вышел из строя, потроха судорожно выбрасывали все содержимое, сердце трепетало, как дубовый листок на ветру, распухшие мышцы объявили забастовку. Тут я взглянул еще раз в зеркало на белую маску Пьеро – тут помог бы звонок в “скорую помощь”, которая и вытянула бы на носилках тяжелобольного из клуба под улюлюканье резвящихся монстриц. Никогда! Усилие воли – и я бросился к туалетам, кафель ослеплял меня, прижигал огнем, обдавал холодом. Суетливо я бросился обратно, но тут кабинка заныла, заскрипела, открылась, и я услышал жуткий визг дамы, которая вывалилась на кафель, словно спасаясь от залетной крысы.

…Она [28] убегала, иногда поворачивая голову и блестя золотой коронкой (сколько раз я просил: замени ее! это же моветон! это же послевоенный Сочи!). Бежала мимо готеля “Пушкин”, названного так потому, что однажды в соседнем доме гостил полусумасшедший пиит Батюшков (беднягу Александра Сергеевича даже в Карлсбад не выпускали), скрылась за постаментом со Святой Марией с шестиконечной звездой, где я потерял ее из виду. Засек неожиданно на набережной горной речки Теплы, она поигрывала узконосым графинчиком с целебной водицей из Млынского источника (такие продавались на каждом углу, чем еще блеснуть курортнику по возвращении к родным пенатам?). Заметив меня, перебежала по мостику к отелю “Колоннада”, развернулась и зашагала к Гранд-отелю “Пупп”, вошедшему в историю, благодаря благословенным визитам Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадеуса Моцарта и конечно же Иоганна Вольфганга Гете, не вылезавшего из Карлсбада из-за ухаживаний за прекрасной дамочкой Ульрике.

– Римма! – закричал я, но она даже не обернулась.

Так мы бежали вдоль Теплы, по разным берегам, и я никак не мог перебежать к ней, – исчезли мостики (а они когда-то были), да и народу подвалило. Я натолкнулся на набычившегося Бетховена, отпугивавшего своим тяжелым взглядом, возник жестикулирующий Гитлер, визгливо призывавший местных судетцев стать частью великой Германии. Любитель заграничных курортов велеречивый Тургенев объяснял застенчивому Гоголю, что водолечение гораздо лучше в Мариенбаде, где подолгу бывал Гончаров, иначе как он мог написать такой увесистый кирпич, как “Обломов”? Петр Великий, обняв за плечи короля Священной Римской империи чеха Карла IV, с высокой горы делал мне знаки рукой: мол, догони ее, догони!

Именно в Карловы Вары мы в свое время рванули с Риммой на медовый месяц с

благословения Монастыря. Остановились в отеле “Виндзор” с огромным парком и кортами, окунулись в разнообразные процедуры, в массажи, грязи, жемчужные ванны и, естественно, в питие из источников. А какие обстоятельные обследования, какие кривые сахара и сердцебиения! До сих пор в памяти “суточная моча” – четыре разноцветных небольших ведра, заполненных в определенное время Алексом, как весело было тянуть все это в лабораторию, по гравиевым дорожкам, мимо опускавших очи долу красавиц. Днем на Млынской колоннаде и в саду Антонина Дворжака гремели симфонические оркестры – от Вивальди до Штрауса, гудел орган в храме Святой Магдалины. Днем мы вели гнусную диетическую жизнь, предвкушая, как оттянемся вечером. Спортивной походкой поднимались в старинный ресторанчик “Малый Версаль” и пожинали там стейки из серн, газелей, оленей, кабанов и зайцев, заливая весь этот букет солнечным моравским и богемским вином, словно предназначенным для легкокрылых ангелов. Тогда там уже воздвигли памятник Карлуше, который на денежки друга Фридриха ухитрился побывать на курорте аж три раза, знал, что здоровье пригодится для строительства нового мира. Помню, когда я попросил какого-то неграмотного итальяшку щелкнуть меня у монумента, он удивился и заметил: “Зачем? Вы гораздо красивей!” Православный храм сиял голубыми и золотыми луковицами, и вообще весь этот район Вест-энда ошеломлял изощренно-элегантными виллами. Потом снова бежали с горы на водопой, проталкиваясь сквозь толпы страждущих… Если во французском городке Лурде исцеленные воздвигли памятник из костылей и клюк, то здесь бы я вылепил огромную кучу из дерьма (конечно, удобнее наложить всем курортным миром, но…). Обмотал бы ее кишками и для пущей ослепительности воткнул бы туда раздутые печени, склизкие желудки, фосфоресцирующие селезенки и зловеще зеленые желчные пузыри.

Тогда мы еще так мало знали друг друга, почти не знали и с интересом наблюдали, как постепенно прорывалось в нас то, что называют обычно “семейная жизнь”; она никак не могла подобрать слов в минуты нежности, чего-то постоянно стеснялась, однажды вдруг у нее выскочило: “Мой сладкий”, я и бровью не повел, но изнутри, видимо, донесся такой вопль, что она больше так меня не называла. О, ужас, о счастье простоты! Мы пили млынскую водицу, затем налегали на моравские вина и жареную утку по-чешски, на решетке в компании с жирной шпекачкой, на айсбайн, обложенный всеми видами sauerkraut. Трубил оркестр, многие пускались в вальсы, мы тоже танцевали, прижавшись друг к другу, как две половинки бутерброда, и хотелось, чтобы танец не кончался никогда, и чтобы все исчезли к чертовой матери, и на колоннаде остались бы только мы вдвоем, только вдвоем на целом свете. Снова моравское вино, умащенное бехеровкой под ролль-мопсы. Безумства молодости. Поддавший Алекс отобрал костыли у муляжа Швейка на скамейке рядом с одноименным кабачком и отбил чечетку, размахивая костылями и приводя в восторг публику. И тут – здрасьте, я ваша тетя! – пред помутневшими очами вдруг возник сам Маня во всей своей начальничьей красе. В белых полотняных штанах, черных, строгих туфлях и соломенной шляпе, долженствующей прикрывать “бобрик” в тот летний вечер.

– Добрый вечер, Алекс? Что это за костыли, у вас переломы? (Он видел весь блеск моей чечетки, но проявил такт.)

– Да это просто так… – протянул я неопределенно, глупо пряча костыли за спину, словно это был украденный сейф с миллионами.

– А я тут по обмену в “Бристоле”, живу в номере, где когда-то проживал маршал Жуков (скромное сравнение). Очень помогают мне жемчужные ванны… (острый взгляд на костыли). Сходите обязательно на смотровую башню “Диана”, оттуда красивый вид на город.

Впрочем, я забыл… (Кивок за мою спину, определенно будет звонить в столицу по ВЧ насчет моих костылей.)

– Желаю набраться сил – и за работу! (Без лозунгов начальство не может.)

Повернулся и растворился в стадах пьющих из источников, а мы с Риммой продолжили пир жизни. Тогда я еще не понимал, как непохожи, как далеки мы друг от друга, хотя чувствовал ее ограниченность, если говорить очень мягко и скромно. Но это лишь распаляло во мне костры любви, я мнил себя Пигмалионом, точнее, Рексом Харрисоном в образе профессора Хиггинса, я восторгался, что ничего не читая, она способна была поддерживать разговор от Бисмарка до насморка, она все запоминала и впитывала в себя как губка. Мои коллеги, имевшие счастье с ней соприкасаться (не говорю о покойном Коленьке), всегда восторгались ее интеллектом и начитанностью, хотя моя Жорж Санд не только не кончала университетов, но даже близко к ним не приближалась. Я любил ее и больше всего любил ее огромные серые глаза, наблюдательные и печальные, жившие отдельно от тела (невольно приходит на ум нос майора Ковалева), они меняли цвет в зависимости от настроения (в гневе превращались в белые, что поражало). Они подмечали каждую деталь: не застегнутую пуговицу на рубашке, волос, выросший на ухе, морщину, которой не было вчера, – в общем, это было целое жандармское отделение (или управление), Большой Брат, контролировавший всех и вся. Но разве в этом главное? Любил я ее без памяти, наплевав на Большого Брата. В постели с ней туман захлестывал мою голову, каждый ее вздох, каждый стон сладко защемляли мое сердце, в вены влетало тягучее блаженство, и хотелось вечности, и чтобы это никогда не кончалось.

Вот и сейчас она убегала, и я точно так же любил ее, хотя это уже была другая Римма, совершенно другая и невозможно такая же. Чуть пополневшая, с седоватой головой (или это парик, прикрывавший лысину? – иногда тошно от собственных шуточек), хотя бежала она резво, еще раз оглянулась, остановилась около городского театра, поправила прическу, словно собираясь на гала-премьеру, неожиданно важно поднялась по ступенькам и исчезла за дубовой дверью. К счастью, я оказался около мостка (иначе непременно бы пересек речку вплавь), пролетел по нему со скоростью света и двинулся к театру, но на подходе какая-то неведомая сила подтолкнула меня в гору. Задыхаясь и обливаясь потом, я скакал вверх по ступенькам, подобно той испуганной собаке на охоте Карла IV: она ошпарилась в термальном ключе, дико завыла и помчалась к охотникам. Событие сие явилось поводом для королевского изречения: да будет здесь град заложен, пусть все больные и здоровые залечивают здесь свои раны! Ступеньки внезапно оборвались, и меня потянуло по тропкам, к счастью, не слишком крутым, покрытым опавшими листьями и снегом (и это лето!). Пот уже катил с меня ручьями, они бурлили, издавая острый запах и капая на землю…

Резкий запах хлороформа заставил меня раскрыть глаза. Не опавшие листья служили мне ложем, и не голубое небо простиралось вверху – леденящий кафель и прозрачно-белый потолок. Надо мною нависла одутловатой маской красная морда стража притона, его желтый пиджак слепил, рядом ежились две полуодетые гризетки, на их физиономиях обозначалось скорее глупое любопытство, нежели теплое сочувствие.

– Кто вы такой? – спросил охранник, показав лошадиные зубы в тон пиджаку.

Тут только я понял, что потерял сознание (от вида крысы?). Голова моя плыла, захлебываясь, по необъятному озеру, глаза слезились и не желали смотреть на прекрасный мир. Вдруг что-то всхлипнуло внутри, забурлило, завертелось, и я снова уплыл в налетевший горький туман, странный сон, в котором отсутствовали реальные черты, но мучила тоска:

зачем пришел я в этот бренный мир? Заниматься весьма постыдным делом – обманом людей, манипуляциями, выуживанием, выведыванием и прочими видами шпионажа, пардон, разведки? И голос Риммы в ощущениях (именно в ощущениях) шептал: нет, нет, совсем не затем, ты призван восстановить справедливость, познать самого себя. И шепот отступал, словно волны от берега, и снова налетал, бесшумно наваливался, душил. Ты призван… Ты призван очистить свою совесть, ты убийца и нечего тебе рядиться в одежды святого.

Глава одиннадцатая, о любви папочек и деточек, о пиве и философии, о философии и пиве

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

Георгий Иванов

Боже, как мне обрыдли эти бескрайне промоченные просторы, водопады с неба, хлипкие палатки, спившиеся морды, кряканье, муравьи и комары, да и вся мужская гопкомпания! Рыба не ловилась и даже не плескалась в патриархальной до гнетущей унылости Цне, рыбу покупали в соседней деревушке, забитой старухами, которые заодно поставляли и самогон. Пили все нещадно и беспощадно, меня, трезвенника и рыболюба, вся эта вакханалия приводила в дикий ужас. Через три дня я слинял из рыбацкого рая, тоскливого, как читальный зал библиотеки города, набитый толстозадыми тетками и потертыми бородачами с круглыми глазами, они корпели над манускриптами, делая умные морды пименов и несторов.

Добрался на попутке до Тамбова, перевалочного пункта, там я бывал не один раз, милое захолустье, на подъездах свиньи и коровы с частными пастухами (распад колхозного строя). Скорее бы в столицу. Хотелось принять горячую ванну, сбросить измазанные грязью джинсы, в меру полить себя хотя бы Kenzo Jungle, облачиться в итальянский, тонкой шерсти костюм… Я любил хорошо одеться, лучше в синее или черное, сунуть для шика белый платок в верхний карман – дальше хоть на трибуну в ООН.

Осип с водителем встретили в Домодедове, пригнали недавно купленный “мерс” с тонированными стеклами – тогда я только начинал свой бизнес, а в нем, что неизвестно лишь вшивым интеллигентам, всегда встречают по одежке. Осипа я любил и допускал к самым тайным операциям, соблюдая должную дистанцию, которую не меньше соблюдал и сам Осип, корректный, как мажордом у английской королевы.

Я быстро шел к машине в грязных джинсах и кроссовках, уже предвкушая, как сдеру все это с себя и выброшу в урну или сожгу в камине. Время шло к полуночи, все созрело для изысканного ужина в ресторации, хотя наряд оставлял желать лучшего. Пришлось в таком виде ехать в ночной клуб, где работал превосходный повар, который для меня готов был разбиться в лепешку. Главное, что у него всегда имелась свежая рыбка, порой прямо из Средиземного моря, ворожил он над нею с вдохновением. Заметим, что дивы клуба меня совершенно не интересовали, от их кривляний и от почти полного отсутствия девичьего запаха тошнота подкатывала к горлу, а когда они открывали рот, хотелось беседовать с резиновой куклой – утехой подводников. Ненавидел, когда вдруг дама становилась в позу и читала стихи (дэдди совершил бы харакири, если бы прочитал эти строки, в детстве он занудно приучал меня к Пушкину, но напрасно мучилась старушка). Всегда не хватало адреналина, без него вообще жизни не существовало. Умопомрачительные скорости на джипе. То по левой, то по правой, то по тротуару, то по трамвайным линиям. Прыжки с

парашютом, срочный вылет в Парагвай, дабы опробовать тарзанку со стометровой вышки и, почти достигнув земли, затормозить на резиновых тросах, подбрасывающих снова в синюю высоту, а потом снова вниз и снова вверх, пока не захлебнется закон тяготения.

Завтрак в хорошем клубе – это не просто пережевывание пищи, это счастье, это экстаз, это начало нового дня. Но в грязных джинсах кусок в рот не шел. Пришлось отбыть в ночной магазин для нуворишей, выбрал там костюм синего цвета, – продавщицы забегали, как в немом кино, запрыгали, подбирая рубашку и галстук, засуетились в поиске достойных туфель. Оставив свое тряпье в бутике, в синем костюме, в темных ботинках с тупыми носами и галстуке в классическую полоску, совершенно умопомрачительный и свежий, словно только что сорванный с грядки огурец, возвратился в кафе и с удовольствием констатировал, что у официантов тоже отпали челюсти от удивления. О, картина Божества! Явился бы народу сам Христос, – и то ажитации было бы меньше! Пришлось съесть “торнадо”, выпить кофейку, залакировав рюмкой кальвадоса (рыбный волшебник отбыл в отпуск). Тут уже подрулил “мерс” с Осипом и двумя заранее ангажированными амазонками, драгоценным кладом последнего месяца. Не очень тянуло, но перелет в одиночестве выглядел ущербным.

Международный аэропорт, VIP-зал, кофе с коньяком в буфете. Посадка под началом дамы в летной форме. В бизнес-классе поили шампанским, девицы млели от восторга, а я чувствовал себя королем, легко острил до посадки в Праге, где уже ожидал джип, заказанный по мобиле. Там на миг стало грустно: вспомнил прошлый год, когда город казался мертвым, словно у Кафки. “Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью”, другой вариант: “Мы рождены, чтоб сказку сделать с грилем”. Я в одиночестве бродил по улочкам, совсем не радуясь красоте и страдая от изжоги после кружки пильзнера с огромной, похожей на грозящий палец, жирной сосиской. Но грустно лишь на миг.

Девушки [29] _uc1щебетали, прижимались, волновались, чувствовали себя принцессами (до этого не имели счастья знать друг друга), а дома в каштанах пролетали мимо, и вскоре мы очутились в угрюмом на вид, но уютном замке, переоборудованном под гостиницу. Там нас ожидал мой партнер и друг Гога, только что прилетевший из Монтрё, где он неделю мучился в компании любимой жены и трех отпрысков. Гога выглядел таким счастливым, будто вырвался из ада, тут же после ознакомительной паузы в номерах затеяли ужин при свечах: устрицы с поднадоевшим шабли. Иван Цветаев, отец великой поэтессы, жаловался на благотворителя Нечаева-Мальцева, построившего нынешний музей изобразительных искусств и допекавшего ученого обедами в “Славянском базаре”: “Опять всякие пул яры и устрицы… Да я устриц в рот не беру, не говоря о всяких шабли. Ну, зачем мне, сыну сельского священника, устрицы? А заставляет, злодей, заставляет!.. Сердце разрывается от жалости: ведь на эту сторублевку – что можно для музея сделать! Ведь самое обидное, что я сам музей объедаю…” Ох уж эти дети священников!

Затем мясо оленя, словно сами только что славно постреляли в замковых лесах, а егеря собрали трофеи и отвезли повару, поджарившему все на решете и вкатившему на гигантской коляске огромное серебряное блюдо. Ужины бывают лучше или хуже, но они везде одинаковы и приедаются, как рейнские долины, горные вершины, тяжелые замки Луары или Бретани, мощеные улочки Толедо, острые запахи вроде бы развратного Монмартра и тухловатые венецьянские каналы, как называл их кто-то из поэтов-романтиков.

Все приедается, все съедается, все разрушается и теряет свой смысл.

После кофе наши пары разделились и я с Ольгой (так она звалась, а не Татьяной) направился в парк. Она нравилась все меньше и раздражала своей животной навязчивостью,

пришлось пугнуть: по аллеям бродят изящные лани и козлы, могут и загрызть, хотел добавить, что недавно одну веселую пару искусал тигр, но пожалел яркой мысли. Вскоре я оставил Ольгу-Татьяну в пивнушке, где веселились студенты, и пошел бродить по свету, где оскорбленному есть счастья уголок (заметим, что поселил я даму отдельно, разве не благородно?). Я же отправился еще раз поглазеть на Старый Город, могилу студента-самосожженца на Вацлавской площади и легендарные часы со скелетами, намекающие на быстротечность и без того слишком быстротечного бытия.

Утром мы все собрались за завтраком, Гога был помят, как пиджак, провалявшийся в чемодане несколько суток, его пассия выглядела, как цветущая вишня. Решили отдать дань интеллектуализму: короткий визит в дом, где проживал несчастный Франц Кафка, ныне магазин с еврейской символикой. Из всего этого, как из мусорного ведра, пованивало фальшью, точнее, такой мертвечиной, что хотелось лечь в гроб рядом с Францем или совершить метаморфозу в насекомое [30] . Переехали для разнообразия в центральную гостиницу без средневековых штучек, – в замках тоже грустно, не случайно феодалы там маялись и спешили превратиться в привидения.

Девки мне смертельно надоели, и захотелось домой, аж защемило – так звала работа (дурная пивная забота), я не отрывался от мобильника, стремясь руководить текучкой, волновался по поводу опозданий некоторых служащих и сулил взгреть и.о. начальника. Как не хватало аудиенций с капучино, переговоров за длинным столом, ощущения собственной значимости, пауз в процессе осмысления новых идей! Только страх, что напутают, нарубят дров. Что может быть ужаснее остановки пивного завода, что еще может бросить народ на революцию, если не похмельная жажда? Я искренне любил свою фирму со всеми потрохами, поощрял и коллективные встречи праздников с шампанским (следил, чтобы сотрудники не нажирались водкой). Обычно празднества я вел сам, сжимая в руке микрофон, острил не хуже заправского конферансье, обходил всю королевскую рать с бокалом (почти с половиной работал с момента создания завода, ко мне обращались дружески на “ты” – и это было особенно приятно, это был истинный триумф демократии). Все создано собственными руками, иногда казался себе памятником, знал, что все мгновенно рассыплется как карточный домик, если я, не дай Бог, отойду в мир иной. Однажды у себя в кабинете я поскользнулся на паркете, упал и разломал себе нос: судьба намекнула, что успех не бывает вечным и беда настигает внезапно, когда ее не ждут. После операции сразу бросился на телефон, не терпелось вновь окунуться в бешеный ритм. Сидел, обмотанный бинтами (естественно, сверху безукоризненно отглаженная сорочка с итальянским, шелковым галстуком), раздавал указания, отменял неверные решения, наставлял на путь истинный. Нет, если даже сломаются все ребра вместе с шеей, все равно: вперед и выше, вперед и выше, excelsior!

Мой шарабан летел вперед, и век катился вместе с ним, клубился, проделывал, что хотел, истекал народной любовью и кровью, захлебывался в предсказаниях. Ошибался, рыдал и каялся, чтобы еще трагичнее ошибиться, изнывал от рабства, свободы, скуки, цинизма и пошлости, играл в оловянные солдатики и вдруг смахивал их со стола, словно не имел к ним никакого отношения. Революции и контрреволюции немного видоизменяли человеческую жизнь, больше укорачивали, нежели продлевали. Это уже философия, последней я в меру интересовался, дабы не превратиться в раба плоти. Слишком мудреные вещи отторгали меня (взять хотя бы абстрактные построения Гегеля), а вот учение Николая Федорова, скромного библиотекаря, почитаемого Львом Толстым, зажигало и заставляло думать о будущем. Ведь

Федоров начертал, что настало время, когда мы, смертные, сможем делать то, что делает Он (то есть воскрешать мертвых). Время, когда слово Христа станет делом. Федоров раньше многих осознал, что всю линию жизни надо повернуть вспять, всю, с самого начала. Бесконечное зачатие детей – бесконечный тупик, лишь порождение нового зла, новых страданий, и больше ничего. Сколько столетий прошло после прихода Христа, а разве стали мы лучше, разве стали меньше убивать? Совсем наоборот! Мы только дальше и дальше уходим от Бога. Адам согрешил, Каин убил брата Авеля, и с этого началось бегство человека от Господа. Человек бежит от Бога и путает следы, он хвалится, ликует, что обманул Господа, что Господь его потерял. Он, грешник из грешников, вор из воров, породил невинного младенца, человек бежит, путает след своим потомством. Даже когда Господь говорит Каину, что грех его будут наследовать семьдесят семь поколений, его потомки умудряются спастись. Они смешиваются с потомством ни в чем не повинного Сифа и вопрошают к Господу, почему мой сын или моя дочь должны страдать? Да, он (она) – потомки Каина, но он же (она) – и потомки Сифа, а тот ведь, Господи, перед Тобой ни в чем не повинен. Так, прямо при зачатии происходит смешение добра со злом и добро прячет зло, укрывает его от Божьего гнева. Вот Федоров и говорит, что, если мы в самом деле хотим искупить свои грехи, мы должны повернуть и идти не от Бога, а к Богу. Пойти строго назад, от сына к отцу дальше – к деду. Поколение за поколением мы должны идти к тем немногим дням, когда сотворенный Господом человек был еще непорочен и безгрешен…

Всем сердцем я чувствовал Федорова, понимая, что метание по жизни – лишь безумие отчаяния, которое должно кончиться. Но Гегель еще держал мозги: теза – антитеза – синтез, зерно созрело и упало в землю, но оно уже совершенно другое, обновленное, оно уже более высокого качества, оно уже из полковников вымахало в генералы. Получался некий прогресс, потом произрастало прогрессивное зерно, по тем же законам диалектики (все в противоречии, в конфликте, черт побери!), и на него снова находило управу антитеза, этакий черный демон, который точил и рыл, как старый крот, до самого финала. Но это итог, а тем временем прогрессивное зерно росло в непримиримой борьбе с проклятой антитезой, пыжилось, воевало, но росло! Покоится ли эта знаменитая триада на идеях пифагорейцев, хотя сам старик Пифагор фигура скорее мифическая? Пифагор придуман, хотя, возможно, существовал подобный тип, веривший в переселение душ вне зависимости от того, человек ли это или кизиловая лепешка. И при этом давал советы носить белые одежды, соблюдать строгость в сексе (весь древний мир тем временем трахал мальчиков), не трогать руками бобовые и очищать свою душу музыкой и философией. Для души полезнее очистка толстой кишки, как это делали мудрые римляне, заправив в рот пару литров собственной урины. “Не спеши, дай мне закончить теорему” (это убивающему его римскому легионеру), такая же липа, как и у Коперника (“А все-таки она вертится!”). Или у Томаса Мора, когда он бросил констеблю Тауэра у виселицы: “Помоги мне подняться, обратно я спущусь сам”, а потом, подыхая от своего английского юмора, уже палачу: “Вряд ли ты заслужишь похвалу – у меня короткая шея!”

Все это легенды для простаков, на самом деле, вся планета состоит из случайностей и дураков. Эдисон открыл электричество, двигаясь в электропоезде, а пиво пили еще питекантропы – ведь оно било прямо из земли. Нет ничего твердого, устойчивого под ногами, – болото одно. Нет истории! – сплошной блеф.

Ярослав Мудрый был не князем, а ханом (точнее, каганом), и Киевская Русь называлась Киевским Каганатом, Иван Грозный сына не убивал, никто Павла на тот свет не отправлял,

Сталин не приказывал вырезать Фрунзе язву желудка.

Забавно, что я толком и не знал почти ничего о своем отце. В детстве мама постоянно сетовала на многолетние командировки на Север “нашего геолога”, видел я его редко, но любил. Геолог? Откуда же у него разные заграничные шмотки, которые он привозил в подарок, будто у эскимосов функционируют шопы с джинсами “Ливайс” и магнитофонами “Шарп”! Может, он крупный бандит и спекулянт? Или международный шпион? На мои вопросы он лишь улыбался и глупо шутил. Потом он вовсе исчез, мама говорила, что уплыл в большое путешествие, и неизвестно, когда вернется. Но он все не возвращался.

Иногда к нам заезжали важные дяди с официальными мордами и шушукались с мамой, выпроводив меня в другую комнату. Она потом объясняла, что это коллеги папы, тоже путешественники и геологи, папа жив-здоров, но обстоятельства не позволяют ему вернуться (однажды мне приснилось, что он застрял на льдине в районе Северного полюса, и с вертолетов ему сбрасывают бутылки с виски и одеяла). Нам перечисляли немалую отцовскую зарплату, по праздникам привозили импортные шмотки и технику, в общем, заботились. Постепенно я привык к мысли об отце, пробивавшимся сквозь вечные льды и песчаные пустыни, эдаком Нансене или Миклухо-Маклае, и глупых вопросов маме не задавал.

Из своих салатных деньков я хорошо запомнил семейные визиты на могилу деда, фигуры загадочной, но не такой закрытой, как отец. Добрый дедушка (я застал его, и он даже учил меня кататься на лыжах) в далекие кровавые дни служил в карательной организации, в должности ликвидатора, то бишь расстрельщика или палача. Правда, не слишком долго, ибо от этого веселого занятия у него помутились мозги, и начальство перевело его на другую, более конструктивную работу уже вне заведения. Долгое время работал он директором школы, прививая учащимся трудовые навыки и любовь к родине, а на пенсии неожиданно обнаружил в себе таланты скульптора и даже получил премию за бюст Анри Барбюса на городском конкурсе. Уже за неделю до поездки на кладбище в день смерти деда отец по-хорошему нервничал, постоянно напоминал мне и маме о грядущем дне, словно целый год он только и ожидал свидания с доской из габбро, на которой стояли лишь Ф.И.О. и даты рождения и ухода в лучший мир. На кладбище отец преображался, заряжаясь необыкновенным оптимизмом, шел по аллеям неспешной вальяжной походкой, с интересом рассматривая надписи на чужих могилах и давая оценки свежим памятникам. Одновременно он ухитрялся наслаждаться чистым воздухом и голубым небом, поглаживал березки и осинки, мурлыча под нос разные фривольные мотивчики, которые никоим образом не вязались с кладбищенской атмосферой. Только позднее я понял, что отец искренне любил кладбища, любил, как любят музеи или дворцы, ипподромы и стадионы. Чем оно было для него, почему наполняло нервной радостью? – этого я так и не понял.

Отец в этот день одевался по-праздничному, и все мы строго следовали этой традиции. Мама покупала большой букет красных гвоздик (иных цветов папа не переваривал), который молча возлагала у доски, осенив себя крестным знамением. Отец не был крещен (я никогда не слышал от него упоминания о Боге), стоял молча, уставившись в одну точку. В свое время он посадил у могилы дубок, выросший и нависший над могилой, и этот дуб приводил отца в экстаз, и он читал стих о ржавых листьях на ржавых дубах, которые устилают неизвестно чей путь. Казалось, что он мнит себя тем самым дубовым листком, выполнившим или собиравшимся выполнить некую высокую, почти божественную миссию, несгибаемым под ветром и в итоге превратившимся в прах. Мы втроем присаживались на скамейку,

собственноручно сколоченную отцом (пожалуй, единственное его достижение в области деревянного зодчества), папа аккуратно застилал середину скамьи газетой. Затем мама доставала из сумки банку с солеными груздями, уже приготовленную слабо соленую селедку, толсто нарезанный ржаной хлеб, отец торжественно наполнял граненые стаканчики и, не чокаясь, хмуро выпивал свою стопку. Мы с мамой лишь виртуально присутствовали на ритуале, – мама не терпела алкоголь, а мне пить строго запрещалось (я так и не приобрел эту дурную привычку). Бутылку отец выпивал один, затем из сумки на свет появлялась и опустошалась другая бутылка, затем трезвый, как стекло, но помрачневший, собирал остатки еды и пустые бутылки в газету и выбрасывал все в мусорный ящик на аллее.

После исчезновения отца мы на время прекратили посещать деда, однако вскоре во мне проснулась необъяснимая тяга к посещению дедовой могилы. К тому же я всегда думал, нравилось ли наше застолье вечно спящему деду, если он наблюдал за нами, или же он возмущался и бил костяшками в крышку гроба. Пришлось придать ритуалу новую форму: возложение цветов, скорбная минута молчания. Любил я порыться в разных фотографиях и бумагах и даже в обширном собрании книг, в которые особенно не вгрызался. Отец был явно книжным червем, на каждой книге оставлял пометки карандашом или ручкой, ставил вопросительные и восклицательные знаки или N.B. или просто “дурак!”, правда, к концу произведения карандаш уставал и некоторые страницы сохраняли свой девственный вид. Кабинет отца, отданный мне на откуп, задыхался от томов Гегеля, Монтеня, Сковороды, индийской и китайской философии и прочего заумного хлама. Беллетристика особенно не выпирала, зато поэзия всех времен и народов занимала десять огромных полок (в два ряда), что свидетельствовало не только о лирической насыщенности души моего родителя, но и о его склонности самому заниматься рифмоплетством. Однажды в одной из бесчисленных папок я наткнулся на следующий опус:

Бродили по миру герои.
Врачи, студенты и геологи.
И каждый вкалывал, что надо,
Порой о них писала “Правда”.
Герои гордые и нежные,
Но, к сожалению, не вечные,
Хоть жили не всегда по правилам,
Историю толкали правильно.
И я меж ними отрицательный,
Или, быть может, положительный,
Толкал историю старательно,
Я бы сказал неукоснительно.
Как хочется попасть в герои!
Чтоб о тебе писали в хронике,
Чтоб руку жали неожиданно,
И подвозили на машинах.
Так думал я, не приобщенный
К всемирной славе и районной,
И в дипломатии корректной
Не ас какой-нибудь заметный…

Эти строчки явно указывали не столько на непомерные амбиции родителя, сколько на его явную неудовлетворенность своим местом в мире. На эти мысли наводили и его подчеркивания в чужих книгах касательно тайных дел, лицемерия и подрывной деятельности. Правда, иногда были и перлы. Так, Маркс Карл Генрихович на вопрос “Что такое счастье?” с пафосом отвечал: “Борьба!”, а Энгельс Фридрих Абрамович: “Бутылка “Шато Марго” 1881 года”.

Школу я закончил с серебряной медалью, и по мудрому совету мамы подал документы в финансовый институт (уже началось время рынка и свободы, и научные и прочие карьеры потеряли свою привлекательность). На экзаменах крупно срезался, все надежды на поступление рухнули, однако меня все-таки приняли, думается, не без вмешательства чьей-то невидимой мохнатой руки. “Неужели приняли?” – восторженная физиономия мамы, которая никогда не отличалась умением врать, служила достаточным тому доказательством. Удивительно, но все финансовые предметы я щелкал в институте, как орешки, снискав славу будущего Рокфеллера, меня уже примеряли на курсы молодых менеджеров в Колумбийском университете, когда произошло событие, сыгравшее свою роль в моей жизни.

Однажды, явившись после учебы домой, я застал у нас дяденьку с тонкими усиками а-ля французский апаш на неподвижной, акульего вида физиономии. Мама называла его Питером, старым другом отца и покровителем семьи, наедине со мной она всячески превозносила достоинства благодетеля, словно это был святой Петр, бывший рыбак Симон. Акулыч, шевеля усиками, пил зеленый чай из фарфорового чайника в виде Биг Бена (видно, был зашитый), иногда потрагивал аккуратно подстриженный, похожий на декоративный газон, “бобрик” и бросал на меня испытующие взгляды.

– Ну что? Определился уже? – задал он самый популярный на нашем выпускном курсе вопрос. Я улыбнулся, и пожал плечами, ибо до сих пор все предложения моей особе держались на планке $300–400 в месяц (рубль дрожал под ветрами перестройки). Тоже, конечно, деньги, но с призраком экономии на устрицах, скромным отдыхом в перестроенном под санаторий пионерлагере с вечно неудовлетворенной женой, постоянно дребезжащей о бриллиантовых колье своих подруг.

– Тут не надо спешить, – продолжил он назидательно, попыхтел немного носом и спросил. – Может, стоит пойти по стопам папаши?

Вопрос застал меня врасплох, однако я не зарыдал от счастья, не бросился потомку акулы на шею, бормоча слова благодарности. Дело в том, что таинственная (как казалось) профессия папы никогда не вызывала у меня энтузиазма, и не потому, что я не видел в ней налет романтизма, или боялся попасть в руки невидимого врага. Просто мне претило, что кто-то будет командовать моей жизнью, направлять меня и поучать даже с самыми добрыми намерениями, как этот очкастый Акул Акулыч.

– Вряд ли я пригоден для таких дел, я очень рассеян, к тому же по ночам мне снятся страшные сны, иногда я просыпаюсь в холодном поту…

– Что же это за сны? – заинтересовался наивный Акулыч и даже от волнения протер очки.

– Чаще всего большой красный гроб с траурными лентами, а в гробу…

– Что, что в гробу? – взволновался Акулыч, словно сам попал туда в моем сне.

– Неудобно даже…

– Да говори, говори, мне можно!

– Баба там лежит голая… – сказал я значительно.

Акулыч затуманился, морда пошла мелкими морщинами и преобразилась в подобие улыбки.

– Эх, молодость, молодость! – молвил он с пониманием, чувствовалось, что девицы в гробу ему никогда не снились, дай бог, привидится тайничок в подъезде или бомжиха Мата Хари с бутылкой. – Ну, иди в бизнес, мы тебе поможем.

Первоначальный капитал не потрясал своими размерами, однако заставил меня покрутиться в том самом дерьме бизнеса, которое тогда не казалось неизбежным. Первое время неплохо получалось на пирамидах (Питер вовремя подсказывал мне, когда следует убирать бабки, дабы не сгореть), но прибыльнее оказались ценные бумаги, на которые я переключился до жуткого дефолта 1998 года. Уже тогда я понимал, что снимать сливки на финансовых операциях легко и приятно, но хлопотно и нестабильно, а после дефолта все мои подозрения превратились в чудовищную реальность, к тому же я не успел погасить некоторые долги и даже испытал два угрожающих наезда. В результате долгих метаний я купил акции в пивном бизнесе и решил не ходить на сторону за прибылью на разной липе, а стать Фордом пивного дела. До сих пор не понимаю, почему мне выпало заниматься пивом, которое я пил редко и не любил, как и прочее спиртное. Пивной бизнес оказался прибыльным, наше пиво расходилось по всем уголкам необъятной страны, и вскоре по совету Питера я основал в провинции небольшой заводик, который по всем законам прибавочной стоимости (как оказалось, несмотря на всеобщий галдеж, не почившей) прирос новым капиталом. В аналогичной ситуации многие сатанели от радости, покупали огромные коттеджи, упихивая в них антикварную мебель, старинное серебро, бронзовые бюсты Альфонса Доде, веджвудские вазы, чешский хрусталь и козетки, истертые задами разных потаскух. Боже, сколько я видел таких мебельно-антикварных вилл! Владельцы, как правило, не понимали вкуса жизни, мучились от алкоголизма и импотенции, дрожали от мысли, что их сокровища похитят, ставили охранную сигнализацию и сложнейшие замки, не спали ночами, спрятав под подушку “Вальтер” и прислушиваясь к шорохам. Ездили с мощной бритоголовой охраной, но все равно их подстерегали и укокошивали.

Но я прекрасно знал, что деньги должны работать (хотя и хотелось накупить золотых слитков и закопать их на черный день на нашей дачке около деревянного сральника). Посему (опять же по совету Питера) у некоего бандюка (ныне отстрелянного его коллегами) приобретен был еще один заводик, новенький, прямо с колес, а затем еще один со специализацией на темных сортах, которые уже вошли в моду у возрождающегося народа. Постепенно бизнес приобрел необходимый автоматизм, когда уже не требовалось лично разгребать счета и наводить порядок с помощью рубля (тут уже заработали юркие менеджеры, которых я отделял от плевел и тщательно селектировал). К этому времени я образовал счета в зарубежных офшорах, предпочитая Гибралтар и Мальту.

Но зачем я завел жену? Чистая блажь, стремление не потерять “солидность”, ибо капитал не смотрелся без естественного обрамления в виде достойной половины. Зачем я женился на простушке Инке, которая быстро вымахала в жуткую стервозу, к тому же толстую? Правда, ухитрилась между абортами подарить мне сына, которого вначале я не выносил из-за вечного скулежа, а потом полюбил и души в нем не чаял. Именно Инка настояла, чтобы мы купили квартирку в Брюсселе, и там поселились в условиях вполне приличных. Жилище серьезно уступало королевским дворцам (Инка по наивности считала,

что за границей все живут как в гламурном кино), зато располагалось в центре, и на вечерней прогулке я мог лишний раз повосторгаться мальчиком Piss-ом (хотелось встать рядом и тоже…). В основном в Бельгии обитала Инка, а я мотался поближе к заводикам.

Глава двенадцатая, в которой смешались запахи рыбной головы и тяжкой судьбы

Я скажу тебе с последней прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Осип Мандельштам

…Рыба возбуждает одним своим видом [31] , чешуя мерцает, переливается перламутром, раскрытая пасть судорожно заглатывает воздух. Рыбный рынок красочнее ювелирной лавки, рыба красивее бриллианта, рыба подрагивает, светится, тускнеет, играет красками, за бирюзовой форелью – черно-серый угорь, красные тушки семги сменяются бледной треской и прозрачными осьминогами (если они рыбины, а не звери). О, острейшие рыбные запахи! Марсельский порт, усеянный рыбными ресторанчиками (за ними в пространстве дешевых баров путаночки в моряцком стиле). Упивался густым буйабезом с торчавшими в разные стороны хвостами и клешнями омаров (местное прозвище “Марсельеза”, – вот они, корни французской революции!). Под аккомпанемент шаловливого пуи, по-блоковски золотого, вышедшего из сказочного родника. Наизусть помню лучшие рыбные рынки мира: копенгагенский прямо на Гаммал Странд под тяжелозадой статуей ожидающей мужа рыбачки; в возбуждающе вонючем чреве Парижа (пока этот ликующий пир запахов и звуков по глупости не транспортировали на зады города); в неприхотливом, пейзанском Паламосе на побережье Коста Бравы. О, как вертелись черные угри в железном корыте на берегу бедной литовской деревушки около Ниды. Или в Остенде, там берег был сплошь заставлен киосками с только что выловленной селедкой, ее на глазах присаливали, и никакие семги и царь-рыбы не шли в сравнение! Наверное, я смог бы постоянно жить в рыбных магазинах, может, я сам в прошлой жизни был рыбой, плавал в морях и океанах, увертывался от акул (или сам был акулой) и попадал в глотку китам? Чтобы не поперхнуться желудочным соком и разрядиться, я уходил из рыбных рядов в мужские бутики (ни в коем случае не в популярные Gallerie Laffayette или подобные конюшни). Пощупать хорошие твиды вроде Харриса, поласкать нежный кашемир, обозреть переливчатые сюртуки и блейзеры от Пьера Кардена, полосатые, клетчатые, серо-буро-малиновые рубашки от Lacoste или Burberry, прикоснуться и погладить нежное шевро курток и туфель, – запах надежности, усиленный обманчивой поношенностью, неуловимый знак аристократизма.

Брюссель до приезда казался затхлым и провинциальным, почетной ссылкой для истинного парижома-на, чью голову насмерть замусорили Бальзак, Золя и старик Хем, экспатриант, который пил шампанское Mumm прямо из рук самого графа Mumm и конечно же объедался мулями и бараньими котлетками под тенистыми платанами Place du Tertre на монмартровой толкучке, еще сохранившей казачьи запахи первой Отечественной войны.

На самом деле для брюссельского гурмана Париж – это гастрономическая провинция, ее престиж построен на фикции литературы и живописи, просто судьба решила, чтобы вся мировая богема однажды слетелась в Париж, ударилась в пьянство и обжорство и вошла в историю. Но что французского в Париже, кроме стандартного лукового супа и рагу из

кролика, которых я никогда не выносил? Лучшие мули, сваренные в пиве или вине, лучшие бараньи котлетки создаются в непревзойденных бельгийских ресторанах, этого не замечает заезжий турист, упорно считающий, что окунулся во французскую кухню. Только идиот будет смаковать утку по-руански в Париже, а не в Руане, а парижский буйабез вообще похож на рыбную солянку в отечественной столовке.

Разбавив наслаждение рыбой созерцанием cri de la mode в бутиках, я вновь окунался в сферу чревоугодия и, раздув дрожащие ноздри, наносил визиты в лавки сыров. Мягкие, нежные камамберы, классические, глазастые швейцарские, мелко дырчатые тильзитские, крепкие и острые пармезаны, чуть водянистые, тающие во рту бри. Одуряюще вонючие Chaumes, которые простак может спутать с пресноватыми, податливыми, как переспевшая грудь, Chamois (все равно, что смешать в одну кучу Мане и Моне), пафосные горгонзола и рокфор в голубую искру…

Тут нужен опять перерыв, и разумнее всего заскочить в парфюмерный отдел крупного универмага, где стоят пробные флакончики [32] . От броских и сексуальных Hugo Boss и Eternity к умиротворявшему Old Spice, и снова в бушующее пламя Adidas и Tobacco. Обычно я опробовал до тридцати флакончиков, делая вид, что не замечаю подозрительных взоров продавщиц, уже не оставалось места на пальцах, сплошной наплыв неимоверных запахов, крутивших голову, как хорошее вино.

Вот тогда и наступало время винной лавки, там стройными рядами тянулись, как на параде, белые шабли и Pouilly Fumé (или Fuissé), которые обычно я охлаждал в рефрижераторе до подламывания в зубах, розовые я пропускал как свидетельство дурного, половинчатого вкуса. И сразу переходил к бордоским и папского замка винам, терпким, засасывающим, как юная горбунья, соблазнившая Казанову. К французским коньякам никогда не был расположен: они отталкивали своей опустошающей серостью и уступали многоцветью испанского арманьяка, заставлявшего вспомнить дни отдыха на брегах Севана. Там однажды директор совхоза, богатый, как Крез, вывел из особняка в сад и благоговейно вытащил из подземного хранилища глиняный кувшин домашнего арманьяка. Это сокровище набирало силы в глубинах еще со времен динозавров, и ручьем лилось на зажаренных куропаток [33] . Хотя спиртное не затягивало меня, цвет и запах его легко будоражил. Увы, но постепенно в мой здоровый быт вторгались сигара с рюмкой “Реми Мартена”, длинный зонт с бамбуковой ручкой, им сладко было цокать по мостовой близ королевского дворца, яркий цветной платок из верхнего кармана твида. “Спасибо” на каждом шагу, привычка не уступать место старику, если это, конечно, не безногий инвалид, нежелание выйти к гаишнику, остановившему машину, – чем он лучше меня, бизнесмена?

Но все это было до Инки, потом грянули женитьба и суета на пивной фирме с визитами в мекленбургские учреждения, делавшими вид, что защищают государственные интересы. Инке очень хотелось, чтобы я ушел в дипломатию: это было престижно, хотя и обрекало на бедность. Что есть дипломатия? Это не то, что студенты долбали по Тарле, Потемкину, Кальеру и Никольсону, это не только британское “Посол – это человек, который лжет ради интересов своей страны”: и до посла нужно еще дорасти, и врут в любой бюрократической организации любой страны не меньше, чем в Форин Офисе. Дипломатия – это не работа, это общественное положение, это привилегированный статус, посему дипломат держится за все это, и ни фига не вкалывает, а нам, бизнесменам, приходится крутиться.

Конечно, Инка зря подала на развод, потом сама жалела. Подумаете, муж изменил! У меня и мысли не было уходить из семьи, хотя роман был что надо, и начался красиво, в

Брюсселе, во время визита одной делегации. Голова закружилась, когда познакомился с красавицей на пышном банкете, утром позвонил ей в отель и предложил услуги гида: сначала все прелести живописи и архитектуры, подъем на Ватерлоо с забегом в красочные лавки, овеянные духом Наполеона. Затем утепленный горящими свечами ресторанчик, скрипач в белом фраке, медленное кружение под вальсы Штрауса (казалось, что рухну на паркет от любви). “Заиндевевшая в мехах, твоя чертовская улыбка…”, хотя и не было мехов, лишь ее жаркое тело в мини-юбке, рывок на машине на квартиру приятеля, оставившего ключи на время отпуска.

И вскоре, уже в Москве, романец с телефонисткой на центральном телеграфе Зоей, очаровательной, несмотря на кривоватые зубы. Два романа подряд – форс-мажор в моей спокойной жизни, признаться, радости я не чувствовал, а больше нагрузку. С Зоей встречался раз в неделю, больше для здоровья (жену не выдерживали нервы, перестал спать с ней в одной постели, казалось, что придушит подушкой), скучища была дикая, большей частью говорили о ценах [34] . Инка раскрыла мой роман, разбила вазу о мою голову, боднула сама пару раз стенку и после этого ударилась в загул, не считаясь с правилами этикета. Меня на сторону отнюдь не тянуло, да и вообще хотелось послать все подальше, уехать в шалаш на берегу речки и ловить там рыбу в полном одиночестве. Но угнетала амбиция: как же так?! Жена гуляет, а я словно больной… Стал похаживать в дом моделей, но столкнулся с неожиданностью: модели были так хорошо одеты, что себе я казался конюхом под ручку с принцессой, да и в большинстве своем довольствовались ужином и не рвались на интим, да и я только радовался этому, видно, ужин давал мне полное удовлетворение. Наверное, меня устроил бы небольшой гарем, куда я наведывался бы как на торжественное собрание или просто на летучку, где толкал бы короткий спич. Мечтал я о большом имении, вспоминал Иртеньева у Толстого: приезд барина в родное имение без жены, умной и интеллигентной (что уже поднадоело), рассеянная скучная жизнь, а тут солдатка с половой тряпкой, вытирающая полы, с крепким и затягивающим запахом пота, – когда она нагибалась, мелькали крупные ляжки, и задница двигалась волчком, манила. Помнится, в юности я дрожал, читая о нервном свидании в овраге, туда она пришла после бани и спросила просто: “Голомя?”

Куда летишь, мой верный конь, и где опустишь ты копыта? Да никуда я не летел! Прокручивая в мозгах тот бурный период, слабо напоминавший похождения монахов в новеллах Боккаччо, прихожу к выводу, что это был подарок за аскетическую юность. В конце концов, я потерял свою девственность лишь в девятнадцать лет (стыдливый румянец заливает лицо, будет стыдно смотреть в глаза детям и внукам!), когда влюбился в замужнюю женщину и не отходил от нее целых четыре года. Орден за постоянство чувств, а мужу – звезду Героя! И все эти золотые денечки, которые положено прожигать на полную катушку, прошли практически в браке (нет ничего стабильнее отношений с замужней любовницей) и институтской зубрежке банальных истин, в самоусовершенствовании, вычитанном у Льва Николаевича. Вплоть до многочасовых бдений в Ленинке над томиком полузапретного Мандельштама и – о, ужас! – конспектировании “Феноменологии духа” скучнейшего Гегеля, тоже добытого с превеликим трудом.

Но духовный поиск – это тоже энергия, это тоже часть непознанного либидо. К тому же я был психом, помешанным на собственном здоровье: исправно занимался спортом, старался больше есть овощей и фруктов, постоянно мучился, что взял на грудь лишнего. Давал зарок в рот не брать месяц или полгода, не курил, ходил по врачам, и многие считали

меня хлипким и дышащим на ладан. После тридцати плюнул на здоровье, иногда закладывал (но помаленьку), спортом прекратил увлекаться именно тогда, когда умные люди стараются поддерживать форму, от врачей бежал, как от чумы.

И все-таки я по-своему любил жену свою Инку, странноватую, с дурным характером, со скандалами на почве ревности, с полным непониманием поэзии и изящных искусств (хотя делала вид, что проникается моими виршами) – сюда бы еще добавить симоновское "…злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, но мою", – и картина станет совершенно законченной и понятной.

Любил ее – вот несчастная натура (говорят, что сильное чувство признак импотенции!) – любил, даже когда встречался с другими, тогда даже больше, чем обычно, и в чужом затемненном лице мерещилось ее, Инкина улыбка, и я боялся, что Фата Моргана исчезнет… Несчастный, несуразно устроенный человек! Разве можно делать такого огромного слона из малюсенькой мухи? Ведь существуют же на свете совершенно нормальные люди, имеющие как минимум по десять любовниц, они ублажают и себя, и дам, и все общество.

А если взглянуть на собственную персону как бы с Неба? Ну почему нужно все время учиться, пробиваться в люди, думать о карьере, жениться, разводиться? И к тому же вечно не хватает денег! Почему нужно расходовать драгоценную энергию не на радости жизни вроде рыбалки, а на некоторые весьма сомнительные субстанции? Совсем другие проблемы волновали, например, какого-нибудь принца Голштинского: родился и жил во дворцах и замках, окруженный драгоценными чашами, изваяниями греческих богов и богинь, сверкающим хрусталем, немыслимой фарфоровой посудой, старинной мебелью, и в ус не дул! Вокруг гувернеры и слуги в париках, заранее намечена и супруга (с ней можно и не жить, важно показываться на людях), всюду и везде почет, пышные пиры, празднества и народные гуляния. Отряды лакеев втягивали на плечах серебряные блюда с жареными гусями, фаршированными молочными поросятами, утопавшими в собственном соку юными барашками. Бочки с мальвазией, ряды, уставленные бутылками мозельского и рейнского, хмельные меды, валящие под стол, – это вам не нынешние изыски пресыщенной цивилизации, начиненные химией, подогретые искусственным солнцем и разбавленные отнюдь не родниковой водой! И наконец, путешествия по миру в разукрашенных фрегатах с надутыми парусами, орудийные залпы при заходе в пристань, красные ковровые дорожки на трапе, звенящая медь духовых оркестров…

Почему не родился я Голштинским принцем? [35]

Почему суждено мне думать ежедневно о хлебе насущном, переезжать из одной квартирки на другую (не дворцы ведь! да и мебелишка больше напоминает хлам!). И посуда куплена в дешевом универмаге! и нет Ватто или Снейдерса в грузных золоченых рамах. Лишь подарочки друзей-художников, смешные безделушки, место которым в сортире. У глупого Голштинского принца – огромная зала с библиотекой еще от предков, там увесистые фолианты на латыни… "Власть отвратительна, как руки брадобрея" – эти Мандельштамовы строки я любил повторять, а на деле власть сладостна и прекрасна, и приятно, когда заглядывает в глаза подхалим, и водитель предупредительно открывает дверцу "Мерседеса", и крепнет голос на совещании, где подчиненные смотрят в рот. А как они входят в кабинет, где высится за дубовым столом твоя внушительная фигура! Чуть подгибая ноги, стараясь не идти, а пропорхнуть, дабы не нарушить покой, не загреметь стулом, не кашлянуть во время твоего монолога, а сосредоточенно и почтительно внимать. Не в этой ли тяге к власти и есть

суть натуры Homo Sapiens? И не только чиновничьих эполет это касается, не только власти золотого тельца, даже чистый литературный порыв – всего лишь стремление подчинить себе чужие умы и души, да так, чтобы у них замирали сердца от текста или чтобы разрывалась грудь от неистового хохота. “Писатель – это второе правительство”, – начертал Солженицын и властвовал над умами, пока заряженные им умы не пришли к власти и не перестали обращать на него внимания.

Уже разбогатев, мечтал я поехать с отцом на родину деда, в Тамбов. Но отец бесследно исчез, и поехал я туда в одиночестве, совместив вояж с делами бизнеса. В отеле было так душно, что только водка вгоняла в сон, и то не надолго: уже в пять утра глаза разлеплялись сами, утопали в поту, перетекавшем на подушку, не помогали ни мокрое полотенце, ни раскрытая дверь в коридор. Жизнь в провинции не умерла, хотя не платили ни пенсий, ни зарплат, по тамбовским улицам до двух часов бродили юноши и девушки, они пили кока-колу и курили в небольших барах, причем девицы оскорблялись, если их считали проститутками. В день рождения Пушкина местная интеллигенция вкупе с так называемой образованщиной декламировала стихи у памятника поэту в местном парке, таким же образом отмечали юбилеи Боратынского в Маре, где некогда стояло его имение, а осталась лишь трава-мурава да кладбищенские плиты. Но и там культура била ключом, недалеко от креста, недавно поставленного в память поэта, затаилось в рощице здание, похожее на музей, где трудились полные матроны из советских чиновниц по культуре. Они и угощали в бывшем сельсовете мятой картошкой, черной от старости селедкой, частиком в томате, выложенным на блюдце, жареным салом (о, бедная печень!) и шматом колбасы.

Но из меня крупного пивуна не вышло, с похмелья после двух-трех рюмок голова разрывалась и просилась в унитаз. Уже в шесть утра на берегах речки Цны появлялись физкультурного вида, загоревшие мужики, они делали зарядку, раздражая согбенных рыбаков в плащ-палатках и вызывая любопытство у освежающихся пьянчуг, спешивших на работу…

Думается, что такое же благолепие было и во времена деда. Восставших крестьян – “антоновцев” тогда называли бандитами, ныне же в эпоху торжествующего капитала пишут о Крестьянской войне против большевиков. Возможно, это была Вандея, но только крестьяне не требовали восстановления монархии и власти помещиков, они нуждались в земле и рассчитывали на декреты Учредительного собрания, разогнанного большевиками. Увы и ах, после трескучих лозунгов новые хозяева ввели продразверстку, и губернию начали прочесывать продотряды, конфискуя зерно и прочее. Днем крестьяне трудились на пашне, по вечерам нападали на красные отряды, сформирована была целая повстанческая армия. Большевики не церемонились: в Тамбовской губернии отметились своими ратными подвигами маршалы Тухачевский и Уборевич, тогда совсем не известный будущий маршал Жуков, Аркадий Гайдар, дедушка великого реформатора Егора, герой гражданской войны Антонов-Овсеенко. В тамбовском архиве полноватые тети и бородатые дяди копались в бумагах, восстанавливая картину восстания…

Как дед попал в эту катавасию? Поверил, что власть принадлежит таким голоштанникам, как он, или просто нечего было жрать?

Фото из дедушкиного альбома: портупея, кожаная сумка, 1934 год, один ромб в петлице (или это кубик?). Фото 1912 г.: сестра и брат с женой в красивых платьях, явно из мещан. Фото: бритая голова, майор, 1943 год, 2-й Украинский фронт. Фото: 1925 год, Гомель, высокий воротник, фуражка без звезды, никаких знаков отличия. Фото из газеты “Труд” вверху отдельно вещает т. Сталин, внизу делегаты Чрезвычайного восьмого Всесоюзного

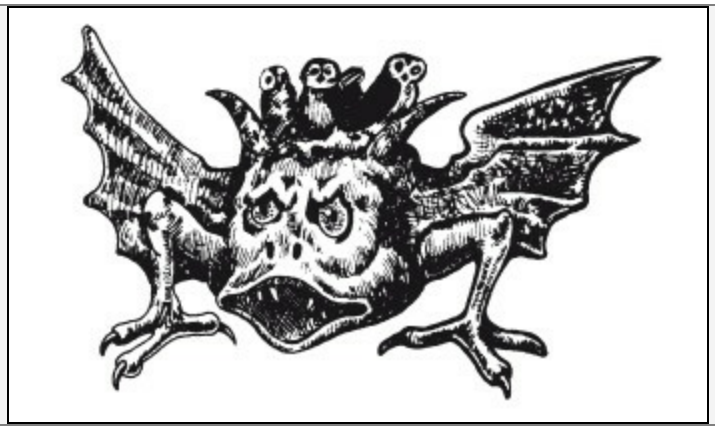
Съезда Советов, 27 ноября 1936 года, в первых рядах дед в галстуке, этакий просвещенный рабочий, а на самом деле – в охране! Фото: гор. Стародуб, Гомельской губернии, 1924 год, дед в чекистской форме, рядом мужик в ботфортах, никаких знаков отличия.

Отца мне не хватало всю жизнь, а дед мне позванивал, и мы иногда встречались. Жил он в квартирке на окраине, каждое утро спускался в продовольственный магазин и покупал там сто граммов свежей любительской колбасы (потому и приходил каждое утро), привязанность к которой пронес через всю нелегкую жизнь, включая гражданскую, финскую и Отечественную войны. Все продавщицы приветливо встречали старичка, снисходительно реагировали на его незамысловатые комплименты, не подозревая, что его еще навещают располневшие генеральские вдовы и премиленькие приятельницы его сына, исчезнувшего во мраке “холодной войны”.

Правда, с годами его окутывала лень и тоска, посему он предпочитал терпеливо кайфовать с колбасой в одиночестве, обмазав себя духами “Красный мак” (подарок его последней пассии с дореволюционным стажем), листать мемуары Казановы (почитал его, как величайшего писателя мира), и тихо засыпать в честерфильдовском кресле, подаренным сгинувшим сыном. А я, скромник, уже после смерти деда (не забывая его) с завидным упорством наращивал число пивных заводов, разумно вкладывая капиталы в другие отрасли. Со временем обзавелся двумя коттеджами на родине, квартиркой в Венеции (черт меня дернул сунуться в этот утопающий в вони город!) и сравнительно скромным шато в районе Барбизона, все это успокоило меня в плане, так сказать, стабильности срамного капитала. Так и жил себе, поживал. Друзей у меня было мало, иногда встречался я с Борькой, сыном Николая Ивановича и Клавы-Мохнатой-Руки (так прозвал ее отец в честь ее всесильного Папы с госдачей за зеленым забором). Клавка – подруга Риммы, и именно мои родичи познакомили Колю с Клавой, что вылилось в законный брак. Соответственно Коля взлетел вверх по служебной лестнице, он тоже временами функционировал за бугром вместе с отцом, в одно время они и исчезли из поля зрения. Еще в детстве родители брали меня в гости к Челюстям (кличка отца), там я поглощал “наполеон” в исполнении Клавы-Вырви-Глаз (я старался не отстать от папаши и тоже клеил ярлыки). Борька был младше меня на несколько лет, но вполне вменяем и остроумен, хотя и падок на иностранные слова. Так, однажды в контексте обсуждения запретных тем он приобщил меня к слову “тестостерон”, утверждая при этом, что у него повышенная любвеобильность, поскольку он регулярно ест высушенные экскременты бегемота, насыщенные тестостероном и купленные по большому блату.

Годы катились чрез наши большие и малые революции, но исчезнувшие отцы не возвращались, их судьба оставалась Великой Тайной. По законам Монастыря служебные вопросы в семьях не обсуждались, но однажды Борька сообщил мне, что его отец погиб. Меня это событие потрясло, ибо до сих пор подобных случаев не было и, главное, что же стряслось с моим отцом? Мама переживала все это безмерно, однако папины коллеги приказали не волноваться, уверили, что он в полном порядке и даже жаждет выбрать время и вырваться в отпуск на озеро Байкал, где любимый сын развернет рыбалку на омуля. Прошло еще несколько лет, Борька поражал меня кремневым антиамериканизмом и видел за каждым углом зловещую руку ЦРУ, он был глубоко убежден, что еще со времен ленд-лиза американцы экспортировали к нам не только “боинги” и свиную тушенку, но и белых тараканов-мутантов, которых до сих пор никто не может отловить. Однажды он вызвал меня на совершенно секретный разговор и объявил, что его отцу посмертно дали звезду Героя и даже

поставили бюст в каком-то таинственном месте, где обучали нелегальных разведчиков. Это известие всколыхнуло: а что же стряслось с моим папой? Если он жив и функционирует, то почему не приезжает домой? Ну, а если он переселился в мир иной, то почему от нас это утаивают?



Глава тринадцатая, стенания Павлушки из племени молодого, незнакомого

В часы весеннего томления
И пляски белых облаков
Бывают головокружения
У девушек и стариков.

Николай Гумилев

Они старели и умирали, а вещи только старели. Интересно, что при этом никто из семейки не испытывал нужды, и все жили в свое удовольствие. Мой отец, пройдя и через коммуналки, и через сладкую жизнь, очень легко влился в рынок. Я стыдился его пивных занятий. К счастью, он унаследовал небрежение к собственности, всегда ломал то мои игрушки, то видеокамеры, часто терял свои кошельки, и я даже слышал, как за это распинал его дед. Как типичному трудоголику, слабо отдающему отчет в конечных целях своей неутомимой деятельности (Ниагара Пива?), больше всего ему нравился сам процесс создания денег, нежели личные виллы с лифтами или собственные золотые бюсты. Наша квартира в столице была обставлена в стиле эклектик с примесью постмодерна: на стенах висели рельефы с изображениями ангелов и доходяг (дьяволов?) с птичьими головами а-ля Иероним Босх. Видное место занимал огромный венецианский плакат, где Казанова в белой маске “Поцелуй смерти” и таком же балахоне беседовал с черным человеком, точнее с его черепом. Неясная, но очень грустная картинка в золоченой раме: розовые здания и одинокий фонарь. Все это дополняли керамические ящерицы и крокодилы, висящие на стенах, огромная маска то ли ацтека, то ли тотмека, сделанная из ценных камней и привезенная из Акапулько. Из вещей от прапрародителей мало что сохранилось. Прадед очень гордился безделушками, которые вывез из побежденной Германии. В целях меблировки и украшения квартиры в логово поверженного змея был командирован целый грузовик, доставивший массу интереснейших вещей, из которых дошли до меня:

1. Полуразвалившиеся напольные английские часы с надписью на циферблате “Will wait London” (что это означает, знают только британцы).

2. Нечто вроде комода темно-вишневого цвета, носившее название “угольник” и потому стоявшее в углу. Непрактичная вещь, которую прадед оклеил дурацкими картинками с голозадыми девицами, хранилась в нем различная ерунда от гвоздей до утюга.

3. Застекленный шкафчик, своего рода витрина, который, по преданию, прадед многозначительно называл “горка”. Там были выставлены интереснейшие вещички, которыми я любил поигрывать в детстве: три глупые мартышки, слоник из стеклянных блесток, графин с пробкой в виде красноносой морды алкоголика, корова-молочник, который прадед привез из Монтре, куда он выезжал по турпутевке. В той горке ранее стояли белый фарфоровый мальчик, положивший ногу на ногу и читающий книгу, томная дама из того же материала и тоже с книгой (правда, ее она не читала, а смотрела задумчиво вдаль), неопределенная каменная голова из серожелтого мрамора. Впоследствии прадед водрузил все эти три реликвии на верхнюю книжную полку, под самый потолок, добавив к ним

деревянную статую алкоголика с полуспущенными штанами на приеме у доктора, английский, канадский и советский флажки, подаренные приятелем из какого-то общества какой-то дружбы.

Деревянный олень, тянувший с помощью ремней тележку с возницей, очевидно, чухонцем, очень сексуальная и неприличная греческая скульптура двух обнимающихся мужиков, причем один стоял и держал другого вверх ногами за причиндал (в детстве я никак не мог понять этой странной позы, да и сейчас мне она кажется неестественной).

Весь этот паноптикум прекрасно сочетался с книгами, которые накопил дед (в его времена еще много читали), многие из них с дарственными надписями от великих в то время, ныне забытых сочинителей:

Грэм Грин, католик и левак, потрудившийся немного в английской разведке вместе с Кимом Филби, работавшим на советскую разведку во имя идеалов коммунизма, еще один бывший шпион, вымахавший в писателя, Джон Ле Карре. Бывший рабочий велосипедного завода в Ноттингеме, отрешившийся от забот пролетариата, ушедший в самопознание Алан Силлитоу. Очень модный и стильный Джулиан Барнс, его дед, по собственному стыдливому признанию, видел лишь один раз на файф-о-клоке в лондонском Артс-клубе и по неосторожности вылил ему на брюки зеленый чай Ганпаудер. Больше всего мне нравилось одно из первых изданий Эразма Роттердамского, кажется “Frob”, в кожаном светлом переплете, изъеденном молью и временем. Книга была добыта дедом у библиотекаря монастыря в Орвале, точнее, украдена, что не вызывало ни у кого из домашних угрызений совести (часть книги написана от руки неким усердным монахом прекрасным каллиграфическим почерком). Интересно, кокнул ли дед библиотекаря? Меня терзала загадка: а что все-таки случилось с теми страницами, которые пришлось восстанавливать? Время не могло их уничтожить, если сохранились остальные страницы с латинским шрифтом, хотя… даже в недавние времена в библиотеках частенько читатели вырывали страницы и гравюры, приходившиеся им по душе. Впрочем, утешала Орвальская чаша, нечто вроде прозрачного белого кубка (монахи хлеб не ели зря, а трудились на благо), подарок вышеупомянутого библиотекаря, еще в тот момент не подозревавшего, что книгу у него слямзили.

Моя жизнь началась сумбурно. Из роддома предки мои поспешили на квартиру, сбросили меня на руки няньке и отвалили в ресторацию отпраздновать присвоение мне имени, где набили животы до пупа, а от винно-водочных смесей всю ночь блевали на два голоса в разных толчках. Папаня мой всегда любил рассказывать, какие блюда он ел накануне или неделю назад, очевидно, по-новому переживая свои обжорные рефлексы (себя он считал гурманом), какие сорта вин потреблял, хотя, по общему мнению, разбирался в этом слабо. Видимо, он унаследовал это качество от деда (что еще у него, паупера, было наследовать?), который даже хранил пышные меню с некоторых званых обедов. Иногда, надев фартук, становился у плиты (“сейчас я вам приготовлю paella valenciana или буйабез”, звучало, правда?) и разводил вокруг такую грязь, что мама рыдала и угрожала удавиться. Одно меню пользовалось особым уважением и составлено было лондонским Артс-клубом для торжественного ужина (видимо, сперто дедом после знакомства с Джулианом Барнсом). На бордовой обложке был нарисован тонконогий тип в крапчатых брючках и хвостатом фраке, с огромной дегенеративной головой, обрамленной безмерными баками. Внутри этой книжечки, продернутой крученым, под цвет обложке шнуром, сияли таинственные напитки и блюда, которые я не имею силы не воспроизвести. Wines: Chardonnay des Rives de l’Argent

Double 1994. Firesteed Pinot Noir 1995. Champagne Laytons Brut. Pierre Ferrand Cognac. Chevalier des Touches Calvados. Закусоны тоже были что надо: Gravadlax of salmon with a honey and dill sauce. Roast leg of lamb scented with rosemary. Roast parsnips. Brussels sprouts. Crispy roast potatoes. Fine apple tart with vanilla ice cream. Coffee.

Первые месяцы я различал свое окружение только по запаху: самым чесночно-вонючим был дед, и я чувствовал его появление за версту, от папаши несло лосьоном после бритья, запах был стойкий, и я мучился после его отъезда на работу до самой середины дня. Мама сначала пахла сеном и молоком (словно зачинали меня в стогу под коровьим выменем), а потом вовсе потеряла запах, и это меня пугало. Остальное окружение по запахам ассоциировалось у меня то со свежевыпеченными пирожками, то со свекольным борщом, то с манной кашей.

Из клозета в московских дачных покоях несло мощно и смачно, этот запах я сохранил в памяти на всю жизнь. Не знаю почему, но в десять лет, когда мы на пару месяцев поселились на Мальте, где отец решал насущные пивные проблемы, я со сладостной ностальгией вспоминал тот запах, словно самое дорогое из уцелевших юных ощущений. После курсов английского языка я любил пройти пешком по набережной Сент-Джулиан, посматривая на людишек, засевших в открытых кафе. Сами их сытые физиономии порядком меня раздражали: дико хотелось жрать (семья вынуждена была экономить в форс-мажорных обстоятельствах), и блюда, которые они уписывали, я мысленно переносил в собственную пасть, испытывая истинное наслаждение. Я внимательно рассматривал салаты из холодных улиток (они появлялись только в сезон), мальтийское рагу из кролика, великолепные поджаренные смеси из кабачков, баклажанов, лука и помидоров под простым и аппетитным названием catuplana. Я поглощал рыбу-басс и рыбу-меч, украшенных розоватыми хвостами лангустов, и особенно самое простое и потрясающее в своей простоте блюдо fish & chips, чаще всего, обыкновенную треску, обкатанную в хлебной крошке и брошенную во фритюр с кипящим оливковым маслом, она хрустела во рту, и из-под корочки сияла белоснежная плоть, сочная и ароматная.

Меня определили на курсы английского языка, тут на острове это сочетание приятного с полезным: климат на редкость мягок, море несравненно, несмотря на каменистый берег, а британские традиции почитаются местными аборигенами не меньше, чем в Англии. До сих пор помню мерзкую, худосочную училку-англичанку с вытянутым носом картошкой, на котором висели очки. Впервые я заметил ее в кафе, она непрерывно строчила что-то в блокнот, одновременно ухитряясь глодать баранью косточку. Курила сигару King Edward и попивала красное вино (полбутылки мальтийского Cabernet Sauvignon). Я явно привлек ее внимание, и она занесла в блокнот какие-то эпохальные фразы, видимо, насчет полуголодного туземца, подглядывавшего, каким образом питаются состоятельные люди.

Жили мы, как это ни смешно, в городе Мдина, когда-то крепости мальтийских рыцарей, переселившихся из Иерусалима, жили, конечно, не в самом средневековом городке из лаймового туфа и с улочками шириной в метр-два, а у более пресного подножия, где папа снимал целый этаж из десяти комнат. Днем и ночью над нами в крепости кипела туристская жизнь, замкнутая на расцвете и падении Мальтийского ордена, одно время его Главным Магистром считался император Павел. Особенно волновал меня местный музей пыток, там, в кромешной мгле трещали кости и раздавались стоны. Иногда слабо освещались клети с людьми, у которых то вытягивали языки, то кишки, а верхом шика были висельники (рядом с ними можно было фотографироваться, а потом рассказывать друзьям, как промышлялось на

большой дороге). На плитах у входа в храм иоаннитов или госпитальеров – так называли себя рыцари-монахи – было начертано по-латыни: “Сегодня ты идешь по нашему праху, завтра пройдут по твоему”. Эта фраза вызывала у меня неясный страх, и тогда я впервые начал задумываться над конечностью бытия и представлять, что однажды ни деда, ни мамы, ни папы, ни меня не будет на этой земле. Неужели я больше никогда не увижу солнца, и тело постепенно превратится в распавшийся скелет, а потом вовсе в пыль, смешанную с грязью? Меня это пугало, но я решил: никогда не умру и не допущу, чтобы умерли близкие.

Думал я так не без оснований, ибо газеты изобиловали сообщениями, что, благодаря прогрессу в медицине, люди начнут принимать таблетки и станут бессмертными. В это время уже широко клонировались наиболее выдающиеся человеческие образцы (драчка вокруг этого была несусветная, поскольку выдающиеся бедняки не имели средств на такую операцию), и даже шла дискуссия о целесообразности воскрешения мертвых. Это звучало абсурдно: планета еле-еле умещала живущих, жила под дамокловым мечом демографического взрыва, а тут еще воскрешать мертвецов, большая часть которых – гнусные и тупые типы! Правда, гуманисты предлагали распределить воскресших по освоенным планетам космоса, но это никоим образом не утешало.

Выйдя из крепости на улочки Мдины, я натыкался на ресторан с яркой вывеской, на которой самозабвенно уплетала спагетти толстая харя с разинутым ртищем. И название было шикарное: “Big Bum” [36] , оставалось только удивляться, почему именно этим местом не поглощались спагетти. У писателя Максима Горького, модного в начале прошлого века, я вычитал эмоциональные строки о том, что всему лучшему в жизни он был обязан книгам. Это я и взял на вооружение. Особенно обожал толстые тома в сафьяновом переплете, зачитанные, с отметками деда на полях, совершенно идиотскими и не по делу, что не замедлило сказаться на моем умственном развитии. Уже в восемь лет я читал газеты, регулярно слушал теленовости и просвещал родителей по поводу политического положения в стране. Этап елейных стишков Чуковского, занудных народных сказок и претенциозных парадоксов Остера я преодолел уже в пять. В душе осталось лишь пристрастие к абсурду Милна и Лира конечно же Льюиса Кэрролла, чья Алиса долго будоражила меня (особенно, когда оставался с ней наедине в кроличьей норе), а из современников больше всего кружил голову Спайк Миллиган с его абсурдными героями. В этих фантазиях я с наслаждением купался, радуясь, что рядом со мной нет ни занудного брата Иванушки, ни плаксивой сестрицы Аленушки из народных сказок.

Вся мебель интересовала меня больше из-за прадеда, чем из-за деда и отца. Я не застал его, но восстанавливал его исторический образ по фотографиям в семейном альбоме. Фото 1912 года: прадед-пастушок в рубахе до колен и его старший брат с женой в кружевном платье. Фото двадцатых годов: хохочущий красноармеец с винтовкой в руке, по преданиям, во времена кровавого подавления крестьянского восстания. Фото прадеда тридцатого года: гимнастерка, портупея, кожаная сумка, один кубик в петлице, рядом два красноармейца угрюмого вида, явно лагерные охранники.

Потом пошли уже неинтересные фото прадеда на пенсии: то он, поддатый, в компании толстых телок, то режущий колбасу на тарелке, то с дедом в обнимку и с моим папашей-мальчиком, залегшим рядом в траву.

Прадед последнее время все больше интересовал меня своим революционным, а точнее, карательным прошлым, тогда слово соединялось с делом, и все тонуло в крови. Все остальные родичи представлялись мелкобуржуазными банальностями: конспиративный дед

с его шепотками и бесшумными, кошачьими шажками (то ли шпион, то ли уголовник без всяких политических взглядов). Отец, понятный, как бутылка пива, мать с ее деревенской родней (дары в виде кислой капусты и огурцов). О бабке-стерве особо, но она внезапно умерла, и потому не буду.

И все это на фоне звенящей пивной рекламы: дефективный Шаляпин с кружкой, выводящий кривым ртом “Эх, ухнем!”, полубезумный Циолковский в очках, прикрывавших юродивые глаза, опять же бутылка пива на столе. Апофеоз кретинизма: необъятный бабий зад, заслоняющий экран телевизора в бильярдной… “я вам не мешаю?” – улыбается зад пьющей братве, рожи балдеют от вежливости и страсти, врубаются в “Бочкарев”: “не-е-е-е-т”!!!

В ранней юности я случайно наткнулся на “Мою жизнь” Льва Троцкого, которую прочитал взахлеб и проникся, затем последовали анархист князь Кропоткин и полутроцкист Маркузе. Эти люди мечтали перекроить мир и, главное, бросали жизни на алтарь идей, что выгодно отличало их от сытых и довольных буржуа, крутившихся в моей среде. Когда я прочитал Достоевского, то восхитился одержимостью так называемых “бесов”, эти ребята творили зло во имя будущего, а не ради омарового супа или пивного заводика (прости, папа!). Пожалуй, можно сделать последний мазок на собственном неповторимом портрете и перейти к событию, по-своему, судьбоносному.

Лет в восемнадцать, когда мы беспечно ютились в комфортабельной вилле на брегах Москва-реки, раздался звонок в дверь, которую открыл папаша Сергей. Далее последовали невнятные звуки, напоминающие то ли чавканье, то ли поцелуи, то ли возню кудахтавших кур, которых у нас и в помине не было, хотя я всегда призывал родичей завести петуха – будильника по утрам, либо, на худой конец, козу, одаряющую нас целебным молоком. Прильнув к замочной скважине деревянной двери, я увидел в гостиной несколько растерянного отца вместе с поношенным, но еще дородным старцем, очень напоминавшим моего исчезнувшего деда.

На инкрустированном кофейном столике появилась бутылка виски, медленно таявшая в свете догоравшего дня (так написал бы классик). Беседа протекала в сумбурно мозаичном ключе, прыгая от тех дней, когда меня еще не планировали зачать, до бурной современности. Диалоги напоминали замысловатые тексты Джеймса Джойса, через которые я пытался прорваться в детстве, пока, наконец, не осознал полное фиаско своей затеи. Впрочем, при желании можно было сварганить пьесу вроде “В ожидании Годо”, где папаша долгие годы ожидает Годо-деда, который почему-то не приходит.

Отец. Это ты? Откуда… зачем… почему… хорошо выглядишь… хочешь виски?

Дед. Ну, здравствуй… (какой-то дурацкий фильм или, как говорили в старину, фильма). Вот, вернулся. (Мог бы и не сообщать, и так все ясно.)

Отец. Почему не сообщил?

Жуют все те же носки. Журчание виски, горловые и желудочные спазмы, кряканье лебедей.

Дед. Все внезапно… оказии не было… ты женат? Который раз? Дети есть?

Отец. А что ты не писал? У тебя внук… вон кряхтит за дверью… любопытный типчик (я быстренько ретировался за стол, схватил книгу, но все равно слушал).

Впрочем, пьеса была занудлива, и я отметил злорадно, что папаша и дедуля, несмотря на разницу в возрасте, удивительно похожи друг на друга своими шуточками (интересно, какая сволочь подметит и во мне роковое сходство с раздобревшим, белесо-бровастым

пивником, к тому же лысым, как рефрижератор?).

Тем не менее, не опускаясь до суперскоростного комикса, вкратце поведаю смысл дискурса (а он существовал и даже создавал колодезно-подобную интригу).

Дед (ни с того ни с сего) вспомнил, что вскоре после войны пристрастился к колбасному сыру (его я представлял, как круглую головку колбасы, густо вымазанную плавленым сырком), считавшимся в те времена деликатесом в отличие от консервированных камчатских крабов “C hat ка”, напрочь отвергнутых населением. Отец атаковал этот тезис, противопоставив свои обширные познания во французских сырах, на что дед выстрелил целую обойму сыров английских, среди которых значился неведомый мне чеширский сыр.

Какое отношение он имел к небезызвестному Чеширскому Коту с улыбкой, исчезающей в тумане? Я помнил “The Olde Cheshire Cheese” на лондонском Стрэнде, где я однажды пил посредственный cask ale после языковых курсов, но в то время моя любознательность была больше прикована к публичному туалету напротив. Как пролепетала мне моя партнерша по элю полуфранцуженка Мари, там до 8 p.m. Greenwich time самозабвенно трудились самые выдающиеся педики Лондона. Разговор этот нас так разогрел, что поздней ночью, когда глухо храпели старики, предоставившие мне комнату в цветном Ноттинг Хилле, я прошел на цыпочках к ней в апартаменты в том же доме, и все было бы хорошо, если бы не рухнул матрас, распугавший всех тараканов и клопов, набросившихся в отместку на нас.

Минут пятнадцать дед рассказывал о тюремной библиотеке, которая его восхитила и просветила (странно, что он не умолял англичан прикрепить его к библиотеке еще лет на двадцать). Затем о бабке, о смерти которой он недавно узнал, и о друге – предателе (напоминало какой-то пошловатый детектив, популярный у сиделок, скучающих среди горшков и клизм). Внезапно начались политические дебаты (уровень начальной школы, а возможно, и пещерной). Дед возмущался ситуацией в стране, разрывом между богатыми и бедными, низкими пенсиями, армиями бомжей и прочими причудами рынка, поразившими великую когда-то державу. Папаша заметил, что зато в магазинах можно купить омары и fois gras, а не только тухлую колбасу, да и рестораны наши давно перебили парижские по изыску кухни, а мобильников на душу населения больше, чем в любой стране мира.

Деньги?! Что деньги?

Деньги надо зарабатывать, вкалывать, а не полагаться на государство с его полчищами чиновников.

– Воровское государство! – заорал дед, словно Прокурор на Процессе Века. – Все прогнило насквозь!

– Зато какой аромат! – парировал отец и засвистел носом от восхищения.

– Что делать? – Дед словно взошел на трибуну парламента. – Где порядочные люди? Где праведники у руля государства?!

(В ход пошла вторая бутыляга виски, кажется, рядовой “Chivas Regal”, пил в основном дедуля.)

Продолжительное бульканье.

Вся эта болтовня приводила меня в ярость: взрослые люди, а рассуждают, как несмышленыши! Еще в четырнадцать, осваивая Льва Давыдыча, Че и Маркузе, я не сомневался: какой дурак отдаст власть (и миллиарды), если не приставят нож к горлу? Дед такой же филистер, как и папаня, даже хуже, ибо обличает режим и бездействует. В этом отношении прадед, революционер и каратель, выглядел безукоризненно, он не болтал зря, а живо ставил к стенке разную сволочь, сидевшую на шее у трудового народа.

Кстати, без прадеда не обошлось.

– Тут мне переслали один манускрипт, написанный рукою отца, – заметил дед Алекс. – Нечто, вроде исповеди о том, что он кого-то пришил. Кстати, и мне довелось кое-кого ухнуть. Ты его знал… это Челюсть!

– Да ты что?! – замахал руками отец. – Не может быть!

В этот момент я случайно зацепил стул, который грохнул, словно колокол, сброшенный с верхотуры собора на площадные камни. Отец проворно открыл дверь и вывел меня за руку на обозрение к деду.

– У твоего внука здоровые шпионские гены, глядишь, он ухватит за бороду вездесущего Усаму.

– How do you do? – молвил я по-светски, и легко поклонился, ощущая себя полным болваном.

В ответ мой визави обнял меня, пахнув еще не всосанными в кровь виски и одеколоном (кажется, “Легендарный Harley Davidson”, старомодный, как и сама антикварная мототачка). Тут дед, лучезарно улыбаясь, разразился тирадой, которая пролетела на скорости сверхзвукового истребителя. Несмотря на оксфорды и мальтийские курсы, я толком не смог ничего усечь. Как потом оказалось, наш семейный шпик – очень подходило “spook” (непереводимо, но близко к стукачу) – балакал по-австралийски, напоминавшим странную помесь мурлыканья короткошерстного британского кота с мягкими стонами рожающей коалы.

Меня усадили на софу, всучив альбом офортов Гойи (посмотри Капричос и Десперадос, сказал отец, хотя всех этих ведьм и ведьмаков я изучил еще в семь лет), и я оживленно зашуршал страницами, притупляя бдительность простаков и востря уши до боли в затылке. Родители склонны недооценивать умственную хватку детей, которые не только ясно видят все их склерозы и неврозы, но и переводят в четкие тезисы, жидкие намеки и недомолвки.

“Над семьей висит рок!” – свистящим шепотом молвил дед, а mon père тем временем листал и перелистывал рукопись, оставленную прадедом (эстафета поколений, иначе весь этот сумбурный кошмар не назовешь).

– Интересно, откуда растут уши? – задумчиво молвил папа, и я представил огромные, похожие на банановые деревья, уши, которые росли из земли. – Очень странная история…

– Ничего странного! Разве не существует Рок? Разве, в конце концов, нас не настигает Страшный Суд? – это все дед. При этом он озирался, и я чувствовал, что он чего-то боится. Тут в мирный диалог влетела неосторожная фраза по поводу социальной несправедливости и взорвала поиск истины. Пошла полемическая трескотня, обмен колкостями по поводу правящего режима (о письме, естественно, забыли), звон стаканчиков с виски, примирение и снова ссора. В общем, я поддерживал сторону деда (хотя осознавал свою принадлежность к правящей прослойке), собственность, еще по старику Прудону, всегда оставалась кражей, капитал руководствовался только прибылью, и ради прибавочной стоимости готов был перегрызть глотку любому, а потому плевать на интересы вкалывающего большинства.

– А где сейчас промышляют все твои хмыри? – спросил папаша, который уже устал от перепалки (это же не пиво гнать!).

– Кое-кого я видел по английскому ящику, перескочили на теплые места, не оставаться же в презираемой и малодоходной организации. Да ну их на фиг! (Дед даже скривил губы, будто собирался плюнуть, плюнул он, правда, минут через десять без всякого повода, прямо на коврик.) – Ты вспоминаешь маму?

– Еще бы! – молвил отец, и на глаза у него навернулись слезы. – Давай не будем об этом…

Бабка пестовала меня в детском возрасте, однако контролировала до абсурда и доставала своими замечаниями по поводу поведения, прилежания, набора физических упражнений, выбора книг, в общем, не существовало вопроса, куда бы она ни совала свой любопытный нос. Бабка не передвигалась, а скорее перелетала рыжей вороной (жгучая рыжина, ни одного седого волоса). Говорила на высоких нотах, особенно выразительно она переругивалась с подругой папы Зоей (мама Инна гуляла на стороне), причем всегда упрекала ее в низком происхождении, на что Зоя спокойно (но внутренне кипя) отвечала "Да, Римма Алексеевна! Телефонистка! Но зато не дура!" С годами они настолько возненавидели друг друга, что не могли оставаться вдвоем в одной комнате, что, разумеется, закончилось проклятиями и полным разрывом. Однажды вечером мама Инна торжественно объявила отцу, что ей все осточертело, и она уходит на все четыре стороны, оставляя меня на попечение папаши (правда, сулила забрать через полгода, однако, этому несчастью не суждено было сбыться). Как вскоре оказалось, мама поселилась у своего любовника-стоматолога в трехэтажном палаццо в Ватутинках, при этом расходиться с отцом не пожелала, зато исправно сдирала с него крупные суммы на житье-бытье. Раз в неделю она наведывалась на свидания со мной, вела себя нервно и ухитрялась закатывать отцу истерики по поводу чужих волос в ванной или таинственного носового платка, вымазанного помадой.

– Все твои приключения и встреча с Масоном (эта кличка сама собой прилепилась к Нострадамусу, который болтал с дедом в Стратфорде) меня весьма настораживают, – задумчиво молвил отец. – Но в чем смысл всех действий Нострадамуса? Доставить тебе радость встречи с Отечеством? Мне кажется, что тебя заманили.

– Все можно было сделать гораздо проще. Собственно, а зачем меня заманивать?

– Возможно, своим убийством ты нарушил чьи-то планы?

– Это уже загадка для историков… если таковые найдутся.

Оба покряхтели (возможно, при этом сумно испускали газы).

– Вернемся к отцу. Записи исповедальны, но старик всегда был к этому склонен. Что же касается самой истории расстрела, то это в те времена было обычным делом. Кровушка лилась, как водица… – сказал дед.

– Дело не в самой кровушке, – перебил деда папаша, – а в том, что весь рассказ завязан на этом расстреле. Такое впечатление, что это мучило старика всю жизнь.

– Что же ты предлагаешь делать?

– Мне кажется, тебе надо разобраться с собственным освобождением из неволи. И конечно, прояснить, кто такой этот магистр. Встретиться с твоими бывшими коллегами, они могут пролить свет на все дело.

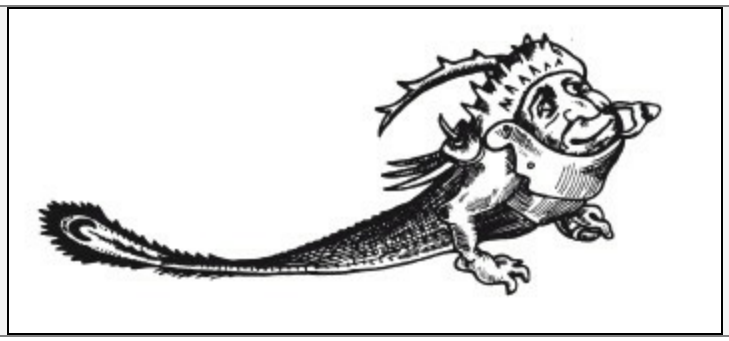
– Не могу сказать, что я полон сил и желания. – Дед был мрачен, как длинноносый Гоголь, заткнутый во двор у Никитских ворот.

– Можно подстраховаться. Пусть тебя сопровождает внук. В качестве шофера и, так сказать, поводыря.

Все-таки ты уже в возрасте, мало ли что. И мне будет спокойнее. Будем постоянно держать связь по мобиле.

Сердце мое забилось от волнения: вот он уникальный шанс вырваться из тягомотины барской жизни, превратиться в некоего Шерлока Холмса, раскапывающего большую тайну. Далее высоко договаривающиеся стороны, продолжая бухтеть над бутылкой, договорились,

что дед в моем сопровождении посетит ряд влиятельных лиц, дабы раскопать причины и следствия странных акций Масона. Я с улыбкой слушал все эти договоренности, будучи уверен, что оба, очнувшись после дринкодуйства, ровным счетом ничего не вспомнят. Заскучав от дуэта двух ослов, я включил телевизор, что не вызвало у них никаких эмоций. Экран пенился и клубился от рекламы, ничего прекрасного ящик уже давно не производил, да и кому это было нужно, публика вся спилась и спятила. Милая девица в авто нагло демонстрировала взмокшие подмышки и призывала использовать дезодорант. Другая бабища нюхала, трепеща ноздрями, рот вальяжного мужика (представляю, как оттуда несло!) и содрогалась при виде жвачки “Orbit”. Двое пидоров в заснеженной избе пили мерзчайший растворимый кофе, не обращая внимания на медведицу, рвущуюся в распахнутую дверь, затем один, недовольно хмурясь, захлопывал дверь, и в заиндевевшем окне являлась пасть тупой медведицы. Горсть кофейных зерен, как подтверждение преимуществ кофе то ли на фоне свежей медвежатины, то ли – сияющих пидоров.



Глава четырнадцатая, танец с запутавшимися привидениями

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Георгий Иванов

Наступит время, и клипы заменят и книги, и кино, и живопись, а потом мозги у человечества станут такими клиповыми, что уже нечем будет впитывать прекрасный и загадочный мир. Меня после школы все тянет на философию, но на следующий день с дедом – легендарным шпионищем-спуком-пуком я уже трясся в маршрутной “Газели” в район речки Клязьмы, которую я видел однажды на пути через Владимир в Суздаль. Отец хотел выделить нам серебристую “Луди”, но дед мрачно заметил, что соскучился по родине (“люблю Россию я, но странною любовью, а еще больше люблю портвейн”), а из окна общественного транспорта гораздо притягательнее выглядят горизонты родной страны. В маршрутке на самом деле теснее, чем в автобусе, все время тебе наступают на ноги либо ударяют неожиданно худой задницей в грудь или толстой – в морду.

Дед в дороге рассказывал байки о том, что пару-тройку декад назад (звучало, как в допетровскую эпоху) в столице почти не было автомобилей, и он за двадцать минут доезжал до своего учреждения (какого я не спрашивал, опасаясь насторожить любимого родственничка). Романтическое время общежитий, где совокупляющиеся пары не считали нужным соблюдать законы приватности и частенько стукались друг о друга задами, длинных макинтошей и туфель на белом каучуке. Трупносерых макарон по-флотски (нечто вроде переваренных спагетти, заправленных собачьим фаршем) и странных копий “фиата” отечественной марки, которые захлебывались на ходу, испуская зловонные газы. Я слушал деда с пониманием, ибо уже давно усек, что хомо сапиенс не в состоянии вырваться из породивших его обстоятельств, и со временем я тоже буду со вздохом вспоминать полчища телок на каждом углу и правительство бывших менял и уличных воров. Маршрутка проехала километров двадцать (дед все радовался, что билет стоил тридцать деревянных, в Альбионе, как он прикидывал, на такую поездку пришлось бы ухлопать пол-обеда в аристократическом клубе “Набу” [37]), и сбросила нас на пустынной остановке около леса. Тут дед замешкался и обвел орлиным взором окрестности, словно восставший из гроба Кутузов, восстанавливающий все детали битвы на Бородинском поле. Его выцветший глаз уперся в некий пышный куст, рядом с ним обнаружилась тропа, по которой явно бродили стопы авто и человека. Радостно крякнув, дед направился вдоль по тропе, укрепленной местами галькой. Так мы прошагали минут десять, пока перед нами не появился трехэтажный бревенчатый дом, обнесенный облупленным, но высоким забором, явно из золотого периода героического Мекленбурга. “Осторожно: злые собаки” висело у калитки (обычно злыми собаками оказываются сами хозяева), там же колыхался на алюминиевой проволоке небольшой однозвучный колокольчик.

Дед уже собирался зазвонить, как калитка отворилась (только тогда я заметил видеоглаз на заборе), и пред нами оказался старик в высоких валенках с галошами, последние я видел только в старых кинохрониках. Всем видом своим он напоминал Фантомаса: лысый

блестящий череп, глазенки-буравчики, длинные криминальные руки, готовые вспрыгнуть на горло врага. Тренировочные штаны клуба “Динамо” указывали на его принадлежность к Монастырю. В давние времена носить такие штаны считалось стильным и престижным, а полный спортивный костюм с начесом приводил в волнение страждущих дам не меньше, чем нынешнее Версаче.

– Вам кого? – спросил он грубо, явно это был охранник самой низшей категории.

– Вы меня не узнаете? – залопотал дед, постыдно смутившись.

Наступила пауза, в течение которой Фантомас напряженно ощупывал дедов лик и фигуру, причем никакого радушия на его физиономии не наблюдалось. В этой накаленной ситуации дед ухитрился дотянуться до уха Фантомаса (пришлось согнуться и как бы нырнуть в воротник его поношенной дубленки) и прошептать ему на ухо некие загадочные слова.

– Ах, это вы! – оживился старикан. – Так вас выпустили? А я думал, что… это самое… того… (тут послышались явные нотки разочарования).

Тем не менее он поднял длань и препроводил нас в дом, при этом во дворе я не приметил ни одной Баскервилыни из стаи, заявленной на заборе. Я ожидал увидеть древние буфеты и диваны совкового дизайна, но внутри оказалась изысканная антикварная мебель явно трофейного происхождения, скорее всего, прямо из здания гестапо (возможно, вместе с Гиммлером, Кальтенбруннером и Мюллером). Тут появилась худая мумия в фартуке, экономка или супруга или симбиоз обеих, но хозяин дома отослал ее обратно, достал из горки с саксонским фарфором початую бутылку водки и рюмки (только две, меня в счет не принял, по-видимому, считая пионером). После пары вспрыскиваний уста разверзлись.

– Я всегда был на твоей стороне, собаке собачья смерть. В партизанах я штук десять пособников расстрелял лично, рука не дрогнула. Да и ты задание имел на самом высоком уровне. Но сгубила все политика, шлюха беспринципная. Каждый вел свою игру, одни защищали интересы Отчизны, другие наводили мосты с Западом, без которого властью не пахло. Мечтали о супермаркетах, виллах, ранчо. Разве кто думал об олигархах в начале перестройки? Ну, сапожная мастерская, мелкая фирма, две, а не одна автомашины… Меня быстренько выперли из службы сразу же после переворота. Наверное, за то, что я не побоялся выскочить с пистолетом, когда мерзавцы снимали с постамента памятник Дзержинскому.

Он вздохнул и опрокинул полрюмки, уставившись мрачным взглядом на бутылку.

– Но ведь вы были вторым человеком в Монастыре, как вы могли допустить? – спросил дед неожиданно тонким голосом.

– Многим кажется, что наверху – как у Бога за пазухой. А там, наоборот, ощущаешь жуткую борьбу, подсидки, интриги, а отсюда и неуверенность. Власть делает трусливее, ибо вы дорожите ею до паники, вам страшно представить, что она ускользнет из рук! Начальство решает все. А тут не какой-нибудь мелкий пакт, а нешуточный альянс с Западом. Принципиальный союз при условии крушения всех наших ценностей.

– И вы допустили это прямое предательство! – Дед даже затрясся от пафоса.

– Сегодня – предательство, завтра – подвиг. История перекручивается каждый день. Тут, кстати, и ответ на твой вопрос. Не будь наивным. Хотя… я тоже верил в Крысу.

Он взялся за рюмку, но отпил лишь чуть-чуть и поморщился.

– Зачем вы здесь? И чем я могу помочь? (Морда его, однако, выражала одно: да убирайся ты на…)

– Я хотел повидаться с семьей и выяснить кое-какие обстоятельства, связанные с

прошлым… далеким прошлым, – молвил дед, заметно нервничая.

– Рывок в историческое прошлое? Только это?

– Не только. Моего отца перед смертью мучила совесть. Он оставил свои записи.

– Совесть? – хохотнул Фантомас. – Это что-то новое для нашего брата. Мы были людьми революционной целесообразности, сейчас это ставят нам в вину все эти слишком совестливые жулики…. Чем занимается ваш сын?

– Бизнесмен. Владелец пивных заводов. Моя жена умерла (Фантомас поднял брови). Сын выделил мне в помощники своего отпрыска. Он чист душой и далек от политики (все же старики – Альцгеймеры и несут черт знает что).

– Он не накручивает нашу беседу на диктофон? – сощурился Фантомас.

– Ему это и в голову не придет. Повторяю: у него ангельская душа.

Тут мой милый дедушка сильно перегнул насчет души, впрочем, все преувеличивают достоинства своих отпрысков. Если бы он знал, что я однажды прихватил у папани из брюк кругленькую сумму. Да и мечтал после отхода дедули в мир иной присвоить его добротный крокодиловый ремень.

– Ваш отец из другой эпохи, я сам частично оттуда. Идеалист и честный службист. Я с ним не сталкивался, но знаю, что он не хапал. За чинами и наградами не гнался, потом отошел от дел. Других деталей я не помню.

– Возможно, вы мне что-нибудь посоветуете? – жалобно просюсюкал дедуля.

Фантомас только пожал плечами.

– Зря вы сюда приехали. Жили бы себе в своих Гайд-парках под защитой англичан, а тут у нас все трещит, – он шевельнул ушами, огляделся вокруг и быстренько что-то написал на уже помятой салфетке. – Вот вам кое-что на всякий случай. Представьте себе, Алекс, что сейчас вдруг встал из гроба товарищ Ленин и попытался забраться на броневик. Что бы с ним сделали?

– Наверное, стащили бы.

– Кокнули бы! Он уже стал человеком из прошлого. И всем мешал бы. Вроде вас.

Физиономия Фантомаса приняла фантастически уксусное выражение, пожалуй, мягко сказано, казалось, что в желудок ему влезла свирепая крыса и пытается изо всех сил перелезть оттуда в кишки.

– У меня был близкий друг, – продолжал свою песнь дед. – Как я понимаю, служба использовала его для контроля надо мною. По простодушию (хитрый дед улыбнулся) я называл его Совестью Эпохи.

– Опять совесть? Вы смотрите телевизор, или по-нынешнему “ящик”? Ваш друг один из самых виртуозных негодяев современности, он больше, чем правительство, и ворочает большими делами. Мультимиллиардер, в долларах, конечно.

– Подумать только! А ведь был наивным и неприспособленным человеком. Пил как лошадь и промышлял иностранными носками, купленными у туристов. Фарца малого разлива, – дед покраснел до неприличия.

– Они все бывшие фарцовщики, – молвил Фантомас. – Это и вся их идеология, которую они пытаются окрестить национальной идеей. Даже комиссии создают по теоретическому обоснованию национальной идеи. Подонки и предатели. Философию по оправданию предательства придумали. Мол, Святой Петр не раз предавал Христа, а стал примерным христианином, и погиб при Нероне. Мазепа – борец за самостийную Украину. А вот Ленин предатель и германский шпион, Сталин изничтожил русскую нацию, великий Сталин –

антисемит, хотя и спас миллионы евреев, выиграв войну. Так считают эти подонки. А по мне предатель суть всегда предатель, будь то Азеф или Власов. Их к стенке ставить надо – и точка! И не надо ссылаться на изменение международной обстановки или на новую расстановку внутренних сил. Сейчас Бандере памятники ставят, а помнится, в районе Львова я две деревни пособников танками стер с лица земли. И ни о чем не жалею! Но вам советую принять меры, враг не дремлет…

Дед слушал Фантомаса, неопределенно покачивая головой, и я так и не понял, разделяет ли он его мысли или нет. Доля истины в этих рассуждениях, бесспорно, существовала, хотя передержки громоздились на передержках, однако Фантомас, в общем, мне импонировал. Чем-то напоминал он старого ирландца, которого я встретил на Лестер-сквер. Старик лыка не вязал, иначе вряд ли стал бахвалиться тем, что взорвал в Сити банк в знак протеста против английской политики в Ольстере.

На фоне категоричного Фантомаса дед Алекс выглядел как аморфный холодец, который качается на вилке то в ту, то в другую сторону, не в силах напружиниться, замереть и прыгнуть в разинутый рот. Словно у него в заднице засел адаптер, который настраивал его на разные настроения, возможно, это было его сугубое качество шпика (интересно, как все это развивали в шпионских школах, были ли теоретические и практические занятия, семинары и экзамены?).

– Откровенно говоря, мне кажется, что за вашим мейстерзингером (Фантомас, видимо, имел в виду розенкрейцера, охмурявшего деда под Стратфордом) стоит английская разведка. Зачем было разводить такие турусы на колесах? Можно было придумать что-нибудь попроще, и совсем необязательно вводить в игру прах вашего покойного папаши. Но они любят заковыристые операции, там же в органах сплошь педики, они так выпускают пар. Но что им надо? Пролезть в наши спецслужбы? Абсурд! Они и так всех купили, и от одного чиха шефа сигуранцы (имелась в виду Интеллидженс Сервис) весь наш бывший Монастырь стоит по струнке. Пролезть в правительство? Но там и так свои люди. Может, они хотят купить Волгу или алмазоносную Якутию? (Старик, несмотря на маразм, был не лишен иронии.) Но первую так загадили, что скоро придется мобилизовать ледоколы, чтобы пробивать говно, а алмазики давно в руках “Де Бирса”, а скорее всего просто разворованы.

– Знаю, что вы не поверите, но я здесь исключительно по личным мотивам, – проблеял дед.

– Конечно, не поверю. Какого черта идти на риск, ради неполадок с совестью покойного папаши? Или вы думаете, что он варится в адском котле, ожидая индульгенции за свои грехи? – Фантомас, не чокаясь, грохнул еще рюмаху.

– Никто не знает, что ожидает нас на небесах… – Дед уже совсем рассопливился и даже перекрестился.

– Понятно. Видно, вы наглотались опиума для народа. А я ни во что не верю, ни в Бога, ни в черта. Завещал развеять свою труху над Брестом, где служил пограничником в начале войны. Но тебя не это интересует. Когда ты грохнул друга-приятеля, сначала решили, что у тебя поехала крыша. Потом все ждали твоих разоблачений, и я, каюсь, предложил тебя убрать. Зачем службе жить под дамокловым мечом? Вдруг тебя перевербовали, и из тебя посыпалась информация, как из рога изобилия? Какой пассаж, княгиня Марья Алексеевна, какой пассаж! (К чему это вспомнил старый хрен, непонятно.) Но ты держался героем на суде, ничего не выдал, получил срок. Что делать? Были доброхоты, предлагавшие организовать побег. Но зачем? Я был против этого, кому ты здесь нужен? Наживешь

неприятностей на жопу, не дай Бог, вобьешь клин в эти самые гребаные отношения с Англией, а потом еще тебя устраивать… в качестве кого? Читать лекции прыщеватым юнцам? Отправить просто на пенсию? А вдруг ты что-нибудь выкинешь? Думали мы, думали и как всегда пришли к мудрому чиновничьему выводу: не делать ничего, пусть сама судьба тебя и вытаскивает. А там наступили времена Великой Перестройки, и о своих шкурах думать пришлось. И ты думай о своей, видно, она упала на кон. Еще по одной?

Фантомас чокнулся с дедом и опустошил до конца еще одну рюмку. Медленно поднялся, обозначив финал аудиенции, страхолюдина экономка довела нас до калитки, крадясь среди невидимых свирепых псов. Дед шагал по гравиевой дорожке, погруженный в свои мысли, оглянулся, вытащил из кармана смятую салфетку, я, разумеется, туда заглянул. Рукой Фантомаса было написано: “Неужто ты не понимаешь, что тебя прикончат? Ты был своим, а стал врагом”. Все это выглядело странно и непонятно.

Фантомас меня покорил своей прямотой и откровенностью, хотя его святотатство и коробило. Позднее, шуруя позднее в вещах деда (он временно остановился в нашей обители), я обнаружил его дневниковые заметки, где нашло отражение и рандеву со своим начальником:

“Бритая Голова (это дедовская кличка Фантомаса) мало изменился: все такая же руководящая старая задница, набитая подозрениями и борьбой с империализмом. Удивительно, что он не цитировал Учителя и не демонстрировал свой наган времен гражданской войны, правда, к счастью, стал выпивать и не мучил нас чаем в серебряном подстаканнике с пересохшими сушками, от которых лопались зубы. Больше всего меня поразил его рассказ о реакции Монастыря на мой арест. Вот гады! А я-то, дуралей, все тюремные годы думал, что уже сформирована группа храбрецов для моего освобождения, я был убежден, что они уже предприняли несколько попыток и рисовал картины прибытия на Родину: прием у Самого, крепкие рукопожатия и торжественное вручение ордена за блестяще проведенную операцию по ликвидации Крысы. А они, подлецы, клали в штаны и думали только о своих теплых местечках. Хорошо, что мой внук еще глуп и не уяснил всей вопиющей несправедливости по отношению к его деду”.

Так начертал старина в своем интимном дневнике! Но жизнь продолжалась, и excelsior! все выше – как писал мой любимый Эдгар По.

События, впрочем, развивались по своим необычным лекалам. Как-то днем, когда я отдыхал после обеда, послышалось мышиное царапанье по двери. Я вышел в коридор и прислушался, услышал, однако, не таинственное стрекотанье, а тяжелую одышку, явно принадлежавшую не Верховному Мышу в ботфортах, а человеческому существу (возможно, с автоматом в перстах). Резко, готовясь присесть перед детиной с гаубицей наперевес, я отворил дверь и к изумлению своему увидел Фантомаса-Бритую-Голову.

– Проходил мимо, решил заскочить, чайку по старой памяти попить… – молвил он, странно блуждая глазами.

Весь перфоманс показался мне до неимоверности неестественным, ибо чайку по старой памяти не вспоминалось, да и непонятно было, откуда у гостя появился адрес, добытый сразу же после нашего визита.

– Проходите в комнату, сейчас я найду чего-нибудь посущественнее чая, – я даже обрадовался случаю пообщаться с привидением.

Но Голова выглядел словно облако, которое внезапно сгустилось у самой двери и не решалось закрыть солнце: внутрь он не входил, покачивался, по лицу его бродили некие

знаки, разгадать которые я был не в силах.

– Да я так… залетел на огонек… погода неплохая… надеюсь, вы все поняли… скажи это деду…

Тут он подмигнул, что выглядело анекдотически, приподнял шляпу (которая отсутствовала), поклонился подобно опытному артисту эстрады и вдруг сделал жест, который любили делать заядлые хулиганы: нацелил руку на мои драгоценные причиндалы, словно собирался цапнуть. Естественно, я дернулся и надломился, оттопырив заднюю часть до предела. В эту минуту появился дед, узревший всю эту душещипательную сцену, от ужаса он присел, не сводя глаз с хищно нацеленной руки Фантомаса, который без всяких комментариев ретировался.

Впрочем, не стоит торопить события, имеет смысл скакнуть назад, к моменту нашего возвращения домой после фантомасной перипетии. Отец Сергий встретил нас, уже чуть взбодренный виски, вопросов не задавал, ибо был потрясен выдающейся гусиной печенкой, которую ему в ланч жарили в ресторане “Уильям Босс”. Захлебываясь от счастья, он вспоминал миллионы и миллиарды fois gras, которые ему доводилось беспорядочно пожинать в ресторанах на всех континентах. Особенно ему запомнилась какая-то дыра севернее Амстердама, в которой добродушная хозяйка средних лет сварганила из потрохов гуся нечто сказочное, что подвигло его на скоротечный романчик с ней прямо в сыром винном погребе, причем в костюме и при бабочке. Могу представить старую каргу в подвальной луже, о, эти сладострастные вопли старушек! О, фуа гра на стенах подвала!

Но печенками дело не закончилось. Отец в свойственной ему эпической манере рассказал, какую дивную утку по-пекински он ел в нью-йоркском Чайнатауне пять лет назад (в монолог неожиданно вклинились черно-белые губы официантки). Затем нахлынули воспоминания из области креветок, омаров и прочих морских чудовищ. Акцент был сделан на мулей по-провансальски, погруженных в чесночный бульон, особенно прекрасных в невзрачных кафе “У Леона”. Потом монолог вновь устремился к незабвенной гусиной печенке (с годами слабела память) и вполне органично к парижскому кабаку “Клозери де Лила”, где гулял алкаш Хемингуэй со своей девкой Хэдли, а потом ехали к Гертрудке Стайн, а потом… а потом… По-прежнему соло нарушалось сладкими звучаниями различных блюд, словно спятивший гурман зачитывал меню потрясенной публике.

Дед сидел мрачный, не притрагиваясь к спиртному, – особенность семьи заключалось в том, что ни отец, ни сын абсолютно не выносили друг друга, когда один из них бывал подшофе или, наоборот, гнетуще трезвым, зато, налакавшись вдвоем, отличались болезненной любвеобильностью. Папаша от изысканных ресторанов и блюд перешел к своей геройской жизни, это была его слабость, он самозабвенно, как Мюнхгаузен, врал о своих военных походах, о кровавых стычках с бандитами, хотя никогда в жизни, ничем, кроме почтенного пивного дела, не занимался, и даже курице не мог отрубить голову. Прыжки с парашютом на территорию банд, освобождение красавиц-заложниц, даже принятие родов под артиллерийским обстрелом. Однажды он рассказывал, как выбирался из тюрьмы, прорыв ногтями дыру, ему помогал академик медицинских наук, который внезапно скончался от инсульта. А папу в мешке выбросили в море, когда он притворился трупом. Боже мой, подумал я, так это же слегка перелицованная история Монтекристо! Хорош гусь! В ресторанах папуля любил беседовать с официантами, как правило, пытливо заглянув в глаза, голосом фельдмаршала спрашивал “где служил?” и, не слушая, благодарил за службу. В заведениях с французской кухней настойчиво учил официанта, как правильно произносить

“Comment allez-vous?” или “Huitres”, намекая, что он во время войны (видимо, 1812 года) брал Париж и позднее славно гулял на Монмартре в обществе Гогена и Тулуз-Лотрека, окруженный самыми выдающимися шлюхами со знаменитой Place Pigalle.

В этот вечер, когда он рассказывал, как валялся со свинцом в груди в долине Дагестана, неожиданно появилась моя блудная муттер, обдав всю компанию ледяным взором и фантастическими духами последнего cri de la mode. Она постоянно бывала в разъездах: летом – остров Сардиния или Биарриц, где она снимала коттедж на берегу, зимой – Куршевель или Андорра, там у нее проживала закадычная подруга, бывшая потаскуха, вышедшая замуж за французского графа и посему ставшая графиней. Отец смотрел на все эти вояжи сквозь пальцы – главное, чтобы она не доставала его своими разборками. Собственно, ради этого она и приезжала домой, по ночам, навострив уши, я слышал визгливое: “У меня нет мужа!”, и в ответ: “Катись к своей лесбиянке, вонючая подстилка!” (Первое – графиня, второе – мать.)

Все джентльмены встали.

– Позволь мне представить моего отца! – сказал фатер натужным голосом спикера парламента.

– Очень приятно с вами познакомиться! – ответствовала маманя, обнажая зубы, чуть измазанные помадой, и надменно протянула руку.

Дед светски ее облобызал и наклонил голову, как лорд в великосветском салоне (похоже, что по старой филерской привычке он тщательно обнюхал руку и сделал выводы). Признаться, я ожидал неких родственных эмоций, вплоть до объятий, забыв, что мать люто ненавидела родственников, своих и отцовских, а покойная бабушка при ней вообще не посещала наш дом, опасаясь яда или смертельных игл, запрятанных в кресле.

– Как погодка? – невозмутимо осведомился дед, продолжая игру в светского льва.

– Полная жопа! – вставил папаша, отхлебнув из стаканчика, но все сделали вид, что не слышали этого тонкого коммента.

– Я так занята была дизайном у Лидочки (видимо, подружка из высоких кругов), что даже не заметила.

Тут пару слов о дизайнерстве, с помощью которого маман лепила свой образ. Вряд ли она знала, что это за коленкор, но в беседах постоянно звучало: “Ах, какой дизайн!”, “Дизайн прямо как у Ле Корбюзье” (иногда “Курвуазье”, этот коньяк она любила), “У Гришки (это какой-нибудь олигарх) в гостиной я сделала такой дизайн…”, при этом закатывала глаза. Мой едкий тон, да простит меня Бог, объясняется не природным разлитием желчи, а тем, что фактически мать оставила меня в возрасте шести лет. Тогда она сошлась с французским любовником в Сент-Рафаэле, отца возмущал не сам факт блуда, а именно место – дешевый и пошлый курорт Сент-Рафаэль, он угрожал разводом, но смирился и утешился неловким броском недорогой вазы ей в голову (и попал!).

– Это та Лидочка, у которой сиськи, как две цистерны? – вызывающе осведомился папаша, которому уже было море по колено. Но мать обдала его презрительным взглядом и прошествовала в свои покои.

– М-да, – сказал дед многозначительно и почесал плешь, которую считал бурной растительностью.

– Не обращай внимания, папочка, это и есть счастье семейной жизни, которой ты был лишен, занимаясь мерзким шпионажем и залетев в тюрягу. Надеюсь, она быстро слиняет отсюда после того, как выбьет у меня очередную кругленькую сумму. Чувствуй себя как дома,

Груня (домработница, предмет моих чувственных утех до полового созревания, в основном я бессмысленно на ней дергался, а она лежала живым трупом и дышала кухней) положила на тебя глаз, и забота о тебе обеспечена.

Так и шла наша не слишком бурная жизнь, из которой не связать “Сагу о Форсайтах”, каждый занимался своим несложным делом, дед постоянно находился у нас, хотя мой ревнивый глаз не зафиксировал привязанность к нему несравненной Груни. Отметим, что я уже созрел, как Пинкертон и миссис Марпл вместе взятые, и находил все больше странностей вокруг нашего дома. Несколько настораживали безответные телефонные звонки (сначала я думал, что это моя пассия Елена, брошенная из-за ее непроходимой глупости, но она обычно жарко дышала в трубку, а тут абонент резко ее клал, лишь услышав голос). Время от времени, посматривая в окно, я замечал незнакомые автомобили, которые парковались недалеко от нашего подъезда, причем разные, там, как правило, сидело обычно по два человека малоинтеллигентного вида, изнывавших от безделья. Однажды в середине дня, приняв небрежную позу дворового шалопая, я приблизился к машине.

– Скажите, пожалуйста, который час? – казалось, что я забыл дома “Ролекс”.

– Ты что, с давалкой познакомиться хочешь? – насмешливо сощурился водитель.

– Нет… – Я медленно осмысливал текст.

– Тогда вали подальше, на центральный телеграф, где часы висят.

Поднявшись домой, я поведал деду об этом эпизоде, но он лишь пожал плечами, мол, мало ли машин крутится у подъездов. Дед нравился мне своей невозмутимостью, к тому же старая профессия ненавязчиво окружала его героическим ореолом. Я все ожидал, что он расколется и начнет рассказывать о своих необыкновенных похождениях в сетях шпионажа. Но он молчал и был настолько погружен в себя, что откликался на мои вопросы со второго, а то и с третьего раза (отец объяснял это тем, что дедушка стал глуховат, тем паче, что в тюрьме ему иногда давали в ухо – вот вам и джентльмены!). Меня поражало, как долго он прихорашивался перед зеркалом, всматриваясь в каждую морщину и прохаживаясь щеткой по скудеющей растительности. Потом он поливал себя каким-нибудь замысловатым парфюмом, в течение дня он менял их раз пять. Особенно радовал меня лосьон “Огуречный” (дед любил его со времен обучения в шпионской школе), в квартире тогда пахло, как на огороде, но жать и на дуде играть почему-то не хотелось. Однажды дедуля торжественно объявил о намерении пригласить своего старинного друга по кличке Чижик, дружок этот будил в нем самые приятные воспоминания, что отражалось на дедовой физиономии, становившейся умильной, словно ему облизывали пятки амазонки. Встрече с Чижиком предшествовала артподготовка.

Дед, странно усмехаясь, набрал номер телефона и заговорил с акцентом.

– Это глава банка Сибинвест Карл Венцель, – представился он секретарше [38] . – Соедините меня с шефом.

Секретарша, пораженная тоном просителя, тут же подключила шефа.

– Мне давно бы следовало познакомиться с вами, у нас очень много общих дел, – заметил дед вкрадчиво.

Ответ был, как говорят англичане, “in the positive”, дед оживился, сказал, чтобы я морально готовился к завтрашнему дню, и таинственно исчез. Вернулся он неестественно бодрым и говорливым (я почти сразу догадался, что он где-то хлебнул, правда, оказалось, что корвалола) и проспал до позднего утра нового дня. Вылез он в пижаме (по-аглицки, in his pyjamas, отметим множественное число, т. е. соединение брюк и верхней части, правда, дед признавал только брюки) и стал биться над глазуньей, напевая при этом тонким голосом

“Санта-Лючию”, словно готовил лангусты на берегу Неаполитанского залива.

Неожиданно раздался звонок в дверь, я вышел в коридор и узрел создание небольшого роста, улыбчивое, нежнейшее и крайне обходительное. Не представляясь, оно начало меня раскачивать и покрывать поцелуями, словно после столетней разлуки, чуть не плача и награждая меня самыми лестными эпитетами.

– Вы, наверное, ошиблись адресом, – обеспокоенный приставаниями (не педофил ли залетел в наш дом?), я пытался увернуться, но безрезультатно.

Тем временем наше кружение вошло в конфликт с перегруженной вешалкой, и мы грохнулись огромным кулем на пол, извергая шумы неадекватные действу. В партере я разглядел в распластанном существе хорошо сохранившегося розовощекого старичка, из тех, кто бреется каждое утро, трудясь над каждой волосинкой, приседает по сто раз и растягивает эспандер до хруста в предплечьях. Из него, словно из иконы Божией Матери, струились покой и любовь к ближнему, и пахло от него вполне пристойными блинчиками с мясом, очевидно, съеденными в соседней кулинарии (я там иногда сам подъедал и весьма ценил их кухню).

– Чижик! – раздался вопль деда. – Это ты?! – И оба старца слились в экстазе нежности, по накалу равного всем утерянным годам разлуки.

– Как ты? Здоров ли? Чем занимаешься?

Дед сыпал вопросами, в ответ на которые Чижик только умильно улыбался и кивал головой, словно очередной раз убеждаясь, что дед жив, последний, видимо, прочитывал в этих движениях души ответы, и потому продолжал спрашивать не слушая.

– У меня смутное впечатление, что мы встречались, – вдруг округлил глаза Чижик. – Вы немец?

– Русский немец, – ответил дед. – Я родился в Ревеле и ребенком был перевезен в Россию [39] .

– Наверное, я видел вас на приемах, – пробормотал Чижик нарочито суровым голосом, словно Вальтер Шелленберг, распекавший начальника охраны, допустившего в рейхсканцелярию отряд партизан.

Сначала мне показалось, что оба старых обалдуя просто сошли с катушек и потому несут несусветную околесицу Однако через пару секунд я усек, что парочка просто добродушно разыгрывала на свой лад экспромт с паролями, имея в прошлом достаточный опыт импровизаций. Потом снова пришла пора безмолвного умиления, словно встреча происходила прямо у ворот, рядом с гостеприимным Святым Петром, после вояжа в челне с Хароном.

– Ты?! – выдыхали оба, сжимая друг друга в объятиях старых самбистов, хлопали по спине, трясли за шею, щипали за живот, отодвигали от груди, чтобы лучше рассмотреть, а дед даже ухватил своего дружбана за щеку и на пару сантиметров ее оттянул, чуть не оторвав.

– А это мой внук… – заулыбался дед, но Чижик даже на меня не взглянул, пожирая глазами дедулю, словно царь Соломон Суламифь.

Далее началась часть эпическая, проходившая под классный молт, именуемый односолодовым виски. (“Ты бросаешь лед в молт?” – с деланным ужасом спросил дед, но Чижик лишь махнул рукой.) Повторенье – великий грех, и потому я обхожу и фиктивную помолвку деда с некой Кэти, и страдания некоего Юджина, ставшего жертвой Крысы, и попугая Чарли. Когда дело дошло до схватки деда на яхте с Челюстью-Колей-Крысой и счастливого умерщвления последнего, пелена пьяного счастья сползла с морщин Чижика, и

он начал внимательно, даже слишком внимательно слушать. Вопросы он задавал направленные, и за нежной улыбкой я различил тигровую хватку и волчьи зубы (впрочем, можно и наоборот).

– Он ничего не рассказывал тебе перед смертью?

– Нет.

– И ты не задавал ему вопросов?

– Каких вопросов?

– Ну, о характере его связи с англичанами, о подрывной работе…

– Он вел себя агрессивно и в любой момент был готов меня укокошить…

– Значит, не ожидал… – протянул Чижик. – Не оперировал ли он какими-нибудь именами, ранее неизвестными тебе?

– Ты слабо представляешь всю обстановку, это же был не допрос у следователя, а настоящий бой.

– Понимаю, но ты сам знаешь, как важно захватить противника живьем и хорошенько его допросить! (Морду при этом сделал кровожадную, словно разрывал на части бегемота.)

– Это теория. При всем желании я ничего больше не мог сделать.

– Кто знает… Скажу тебе честно, мы тут не были в восторге от твоей акции. Прежде всего, не было военного трибунала, даже заочного, а устные приказы локализовать Крысу нигде не зафиксированы. Увы, но мы лишились важной информации. Конечно, ее могло бы не быть, но все же, все же… – Чижик даже осунулся от горя. – Он унес с собой в могилу тайны, важнейшие тайны.

– После драки кулаками не машут, – холодно заметил дед, явно стремясь уйти подальше от этой скользкой темы. – Ты можешь мне помочь?

– Чем?

– За мной ходит наружка. Чья она? Ведь сейчас в столице свободно орудуют все разведки.

– Наружка? А тебе не показалось? У всех нас мания преследования, мне самому после отставки два года казалось, что за мной слежка. Но даже если ты и впрямь под наружной, как я могу тебе помочь? Я уже давно сижу на газовом хозяйстве, старые связи вычищены из Монастыря или утеряны, а мое новое начальство крайне отрицательно относится к шпионажу: оно ориентируется на Запад и вообще выступает за передачу туда всех наших архивов. Сейчас в стране совершенно иная агентурно-оперативная [40] обстановка, многие требуют устроить над нами Нюрнбергский процесс и вынести строгие вердикты. Вот идиоты! Впрочем, в Германии они преуспели, и наши бывшие товарищи не успевают отмываться.

– Это все давление тупых американцев, приравнивающих нас к гестапо, – скривился дед, словно уже сел на скамью подсудимых, обняв за плечи Геринга и Риббентропа.

– Теперь это наши союзники и покровители, к их мнению приходится прислушиваться, – мудро заметил Чижик. – Хотя руководство страны понимает, что если всех нас вычистить, то рухнут многие банки и концерны, куда почти все мы, за редким исключением, плавно перетекли после революционных потрясений. К счастью, наше руководство всегда отличалось здравым смыслом и мудростью (сказано было слишком громко и явно для ушей в стене).

– Конечно, конечно! – не без иронии согласился дед. – Удивительно, что никто не сопротивлялся всем этим безобразиям, включая снос памятника Несостоявшемуся Ксендзу!

– Все мы были законопослушны и воспитаны на преданности партии и правительству, какие бы глупости они ни совершали. Вообще-то взвод солдат за десять минут разогнал бы всю эту шайку. Но за ней стоял этот неистовый Роланд с Урала… Правда, никто не в силах был преодолеть сделку с Западом, она прошла на всех уровнях, прежде всего, по линии разведслужб… если бы ты знал, кто все это осуществлял – Чижик хотел еще что-то добавить, но осекся и указал рукою на стены, которые, как известно, имеют уши даже при демократическом режиме.

Чем больше я изучал дедова коллегу, тем меньше он мне нравился, хотя весь его вид излучал доброжелательность и надежность, вплоть до джентльменской “тройки”: удлиненный пиджак с двумя разрезами сзади, свободно сидевшие брюки с тщательно отглаженной “стрелкой”, вязаный кремовый жилет, сорочка в крупную клетку, увенчанная малиновым галстуком. Моя развитая сенсорная система ощущала пугающую муть подо всей этой великолепной оболочкой, она подрагивала, застывала, отступала в темные бездны, боясь обнажиться и выдать себя. Чижик был любезен и пригласил нас развеяться в ресторане в старых добрых традициях (я сразу представил, как буду тащить на своем горбу отяжелевшего деда), в этот момент прозвучала мобила, и гость напружинил лицо, придав ему форс-мажорное выражение.

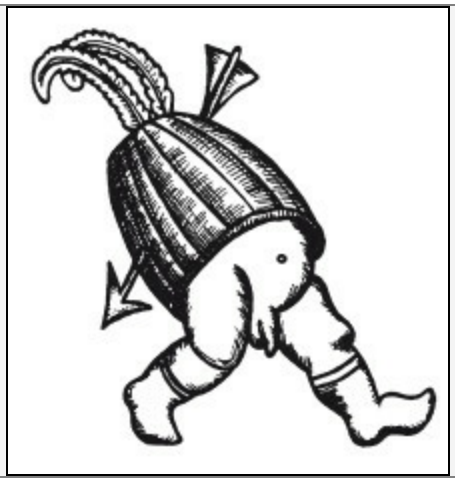
– Не дают дыхнуть, дела и снова дела…

На этом аудиенция завершилась, ресторан нам больше не угрожал, и Чижик благополучно отвалил, избавив нас от очередного коловращения.

Последние слова гостя:

– Конечно, не ждут тебя казни египетские, но надо ко всему быть готовым.

На всякий случай я залез в ящик буфета и проверил, не исчез ли оттуда альбом с африканскими марками, мало ли что. Эти проклятые марки я сам спер у дальней родственницы, неосторожно оставившей меня наедине с этим сокровищем (до сих пор вспоминаю напряженные, потные руки, судорожно срывающие аккуратно приклеенные stamps). Затем начал расследовать сущность казней египетских. Их оказалось не так уж много, но почти все были омерзительными. Чего стоит наказание жабами, которые покрыли всю землю, залезали несчастным египтянам под одеяло, внезапно плюхались в суп и квакали днем и ночью. Не лучше были наказания пёсьими мухами. “По словам Филона, насекомое, послужившее орудием четвертой казни, совмещало свойства мух и собак, отличалось лютостью и неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на человека или животное и, стремительно нападая, впивалось жалом в тело и как бы прилипало к нему” (“Толковая Библия” Лопухина). Скорее всего, под пёсьими мухами подразумеваются оводы, не дававшие покоя египтянам и стадам их животных. После этого Господь повелел Моисею и Аарону взять по пригоршне печной сажи и подбросить ее высоко вверх перед фараоном. Так они и сделали, и покрылись тела египтян и животных их страшными язвами и нарывами. И испугался фараон, что всю оставшуюся жизнь будет мучиться и чесаться из-за язв и нарывов и решил отпустить-таки евреев. Но Бог укрепил сердце его и дал ему смелость поступать согласно своим убеждениям, ибо хотел, чтобы отпустил фараон евреев не из страха, но из осознания того, что ни один земной царь не может спорить с Богом. И вновь не отпустил иудеев фараон, хотя я вижу тут плоды воспитательной этики Бога.



Глава пятнадцатая, оптимистическая, жизнь продолжается, ми избавились от запоров и участвуем в олимпиадах

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

Федор Тютчев

Тем временам я, то бишь Алекс, отлеживался на кожаном диване, ощущая себя проколотым футбольным мячом и не поверив ни одному слову лицемера Чижика. Явно он явился не просто из вечно дружеских чувств, а с определенной целью, отнюдь не самой благородной. Думал я о расплате за грехи предков, ведь грехи могут уходить корнями в глубины веков, Рюрик переел блинов, а у его потомка на этой почве несварение. Возможно, в роду бесчинствовал лишь один злодей, – значит он, словно клеймо, отпечатывается на всех последующих поколениях? Или лишь на следующем поколении? Или через два поколения? Или вообще распределением грехов распоряжается лишь Господь? В его силах затормозить возмездие на несколько веков, пока оно совсем неожиданно не вынырнет и не ударит молнией в новорожденного, еще ничем не запятнавшего себя в жизни. Или переместится на совсем другой род, но тогда теряется смысл предупреждений Магистра, тогда все переворачивается и превращается в хаос без причин и следствий, в бушующее море, в жизнь без начала и конца.

Жизнь гораздо проще, чем нам порой представляется, и тщетно искать истину в схватках тамплиеров и госпитальеров, в загадках Великого Магистра и прочей мистике. Кто может мстить мне за смерть Челюсти? Разумеется, не Монастырь, который сгинул в небытии, и не англичане, для которых он был лишь пешкой в “холодной войне”.

Так кто же? Может, все-таки Монастырь. Ясно, что пелена секретности заволокла все действия властей во времена всего дела Крысы. И Крыса ли это был? Крысам не дают Героя, а Крысоловов не обрекают на гибель.

Я вызвал Чижика для продолжения разговора в отель “Будапешт”, бывший “Аврора”, где в фойе стоял симпатичный медведь (естественно, чучело), которому иногда пьянчуги вставляли в пасть сигареты. Внутри лабал потрясный полузапретный джаз с ударником Лаци Олахом, выделывавшим палочкой такие замысловатые кренделя, что все охали, глуша коктейль “Белый медведь” (смесь коньяка с шампанским, хаф-хаф). Медведь по-прежнему встречал гостей у входа и даже посвежел, ресторан перестроили, добавив золоченые ложи для публики, и, чтобы пахло Парижем, назвали “Опера”. Там любовались дешевой эстрадой новые аристократы, купаясь в “Moet & Chandon” и доставленными утром прямо из Франции устрицами. Чижика я ожидал около медведя, он не приходил, и я решил потрапезничать в одиночестве. К моему изумлению, Чижик уже сидел за заказанным мною столиком, – сразу его невозможно было узнать, ибо его физиономию украшали усы и борода.

– Это что это за маскарад? – спросил я старого друга.

– Ты же сам говорил, что за тобой наружна…

Я отказался от табльдота, ныне именуемого шведским столом, и мы в порыве солидарности заказали луковый суп и каре ягненка, сопровождала все это бутылка

французского шампанского.

– Что тебе нужно? – прямо спросил Чижик деловым тоном.

– Развей, пожалуйста, мысли о моей судьбе. Ты намекнул на это у меня дома.

– Была такая американская книжка “Беги, кролик, беги”. Ясно?

– Какой кролик?! Ты спятил?

– Не лишай сына отца, а внука – деда. Я тебе все сказал, даже больше. Или ты уже намеков не понимаешь?

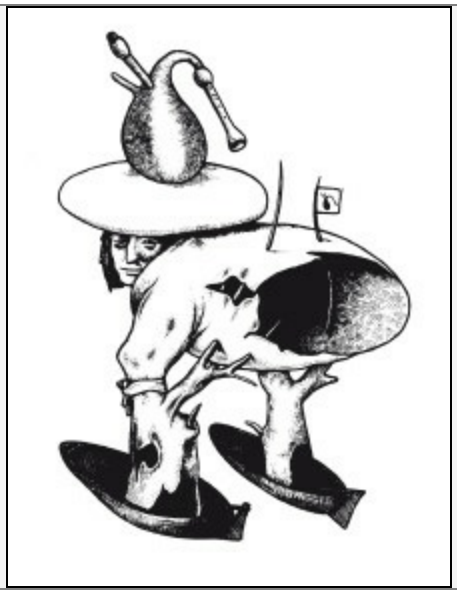
– Ничего не понимаю. Полный абсурд!

– Давай лучше приступим к обеду. Может, шампанское освободит тебя от тупости.

Так мы молча дожевали до самого конца, перед кофе Чижик легко поднялся и устремился к туалетам. Там он, видимо, выпорхнул через окно, ибо больше я его не видел.

Под мостами утек целый океан времени, я молча дохлебал свой кофе. “Мне кажется, мы на аллее крыс, где мертвецы свои глодают кости”, – вертелась в голове строчка из Элиота. Так мы и расстались (странно, что не сказав друг другу “Счастлив вас видеть”), я шел по переулку, где когда-то жил ходок по уркам Гиляровский, а позже стоял роскошный винный магазин. Там в юности я очаровал блондинистую продавщицу, и потом целый год у меня не переводилась до жути сладкая и вязкая вишневая наливка. Боже, как много бухали сахара во все продукты при тоталитарном режиме, словно заботились о том, чтобы восприятие жизни было сладким! Только ради уничтожения этой политической линии можно приветствовать приход к власти демократов, приверженцев кофе без сахара и обезжиренных девочек. К тому же продавщиц регулярно проверяли на чистоту организма, и это было дивное совмещение приятного с полезным. Я миновал меховой магазин и уперся в некогда главный идеологический центр Карла и Фридриха, который бдел и не допускал, чтоб в театральных постановках Учитель слишком явно картавил и походил на еврея. Шутки шутками, а ведь Карлуша был прав, когда писал, что человек в угаре базарной экономики совершенно не понимает, куда движется, и в отношения он вступает неосознанные, и вокруг муть и туман… Поэтому не надо рыдать по поводу общественных идей при Базаре, которые как путеводная звезда! Какие там могут быть идеи? Одна пламенная идея: УРВАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

Далее – “На холмах Грузии лежит ночная тьма, течет “Арагви” подо мною” (интересно, подают ли там ныне шашлыки по-карски?). Выход к основоположнику столицы Юраше на коняге (хотя по путаным новейшим теориям, это скорее всего внук Чингисхана хан Батый). Сик транзит, как говорят славяне, радуйся, что ходишь по земле (“и сердце бьется в упоенье, и для него возникнут вновь”), вот и туалет… – фига с два, его уже переделали в магазинчик цветов, ужасно жить, когда драматически меняются эпохи. Заскочил в книжный и был сражен развалами с завалами, – почему так распух конгломерат пишущих шизофреников, вяжущих веники, и олигофренов, режущих вены? Мир не стал читать больше, наоборот, оскудел и одурел, но почему законы рыночной экономики работают в обратную сторону, когда дело касается раздолбаев? Видно, раздолбайство создает свое уникальное магнитное поле, утягивающее под себя пространство и время, это целая планета, раздолбайство, там свои законы и страсти.



Глава шестнадцатая, скорбная, ибо начальству рано или поздно приходится расплачиваться за грехи

…Труба…
Командиры, к бою!
Труба… Трубы…
О трубе… Трубою…

Эдуард Багрицкий

На первый взгляд, предельно глупо выращивать змею, направляя ее к еде клавишами 2, 4, 6 и 8, тем более что развернуть змею нельзя, и еще труднее избежать столкновения змеи со стеной или со своим хвостом. Когда включаешь кнопку “Кампания” змея переходит в следующий лабиринт, съев десять порций еды, казалось бы, занудно, но очень помогает во время ночного дежурства по банку. Игра в Snake стала моей любимой после приобретения мобильного телефона, который я включал в сеть, опасаясь разрядить батарейки, экономил, хотя получал в банке вполне прилично, благо, бывшие коллеги не забывали, помнили, под кем трудились в организации. Конечно, не особенно престижно просиживать в банке сторожем (дежурным комендантом) три ночи в неделю, причем числясь советником по вопросам безопасности, но зато не видел никто, по ночам уже не работали. Это не времена при Отце Народов, когда, бывало, сидели часиков до четырех утра, правда, попутно пощупывая уборщиц, которые заступали под утро, пощупал – и к супружнице под бок, она требует, а ты утомлен вечной нервотрепкой. А сейчас тоже порой наваливаются грешные мыслишки об уборщицах, есть еще порох в пороховницах, но все они молоды и резвы, работают по совместительству, да и цены на пенсионеров не рассчитаны. Интересно, что сижу я в истинно капиталистическом заведении, которым вертят бывшие коллеги, подсуетившиеся во время перестройки, просматриваю газетки, в основном бульварные (от серьезных голова идет кругом, а тут то мама дитя удушит, то старика украдут и его квартиру хапнут), а думаю все о войне. Она, именно она запала в душу. Забрили меня совсем пацаном, определили в артиллерию, и так прошагал я до самой Праги, без единого ранения, словно Бог оберегал меня на этом кровавом пути. Потом на комсомольско-партийную работу, поднялся постепенно до секретаря горкома, оттуда в ЦК на большую работу, а потом за кордон. В Праге влюбился в чешку (до сих пор ощущаю запах ее ситцевой юбки), чуть не женился, но пронесло мимо, а то коротал бы денечки в малокомфортабельных местах. Некоторое время после разоблачений Хрущева бегал в Политехнический, слушал Евтушенко с Вознесенским, радовался, что наступают другие времена, и под ленинским знаменем мы отрешимся от всех прегрешений Сталина и построим наконец-то новое общество.

Там и познакомился с Мариной, тоже комсомольской активисткой, поженились, родили двоих дочерей. Жили счастливо до проклятого переворота, когда меня упекли в каталажку и опозорили. Потом выпустили, отправили на пенсию, к счастью, сохранилась и поликлиника, и даже дача, которую я заблаговременно переписал на дочку. Но это все пустяки, мелочи жизни, хотя, конечно, маленькое удовольствие катиться колобком вниз с вершин, а шеф разведки – это мой звездный час, конечно, много иллюзий рассыпалось в пыль, но много и

понял. Ведь перед назначением я считал, что буду ворочать всем миром, словно это маленький глобус, шутка ли сказать – несколько тысяч преданных и не очень агентов во всех странах, а может, и больше. Казалось, пальцем шевельну, – и вмиг капитализм превращается в социализм, с переходным периодом или без переходного, путем революции или контрреволюции или медленного врастания одного в другое. Никогда не ожидал, что вымахаю в такие большие начальники, сначала удивлялся величине своего творческого заряда. И я призван был стать тем самым винтом (не винтиком), который закрепит победу страны над мировым злом и выведет нас на последний, на решительный бой.

Сейчас, после реставрации власти капитала все отребье потешается над нашим братом коммунистом, словно никогда не стояли мы близко к цели и только морочили голову народу. А ведь было время в пятидесятых, тогда никто не предполагал, что случится Суэц, дрогнет Англия, получив от Насера по зубам, после войны из тюремных застенков вышли к независимости Ганди и Неру, брат Карно овладел Индонезией, а с ними – Секу Туре, Кеньятта, Лумумба. Немного отставала Латинская Америка, там вырвался Кастро, а остальных придавили штатники, несмотря на нашу помощь, как, например, Гайане. Наш лагерь разрастался и креп, вместе с Китаем, пока не прирученным, мы уже составляли подавляющее большинство… Да и в самой Европе наши товарищи по оружию довлели на политику в Италии и Франции, Югославия, несмотря на девиации, оставалась нейтральной и близкой по духу Восточной Европе. Конечно, не обходилось без катаклизмов, особенно после послаблений XX съезда партии: то Берлинский кризис, то венгерская контра, ну и конечно же Пражская весна. Но ведь не по Невскому проспекту шагали, а по неосвоенным путям, впервые выведшим всю планету из царства привычного базара, от которого все зло, на путь разумного планирования. И тут не все так просто: не получалось, сидели в вечном дефиците, слушая злобный скрежет своей же интеллигенции, выезжавшей на наши деньги на Запад и приходившей в восторг от вида зажиревших витрин. Пи́сались от зависти, а своего не ценили! Но ведь путь наш был первым в истории, и, думается, его еще повторят, если не захотят погибнуть от взаимной вражды и истощения всей планеты, пусть на Марсе, но повторят! Проще всего сказать, что все империи рано или поздно гибнут. Но ведь наша империя (если вообще подходит это слово) не походила ни на Римскую, ни на Австро-Венгерскую, ни на Британскую, суть ее была не в эксплуатации народов. Наоборот, в помощи им за счет наших ресурсов, в создании нового человека, коллективно мыслящего и бескорыстного.

Что противодействовало этой благородной идее? Думается, сам человек, точнее, темные стороны его души, еще точнее, инстинкты частной собственности. Сталин, умница, осознавал это и выкорчевывал кулаков и заодно и оппозицию, но так и не понял, как организовать народное хозяйство на плановых началах, но с использованием рыночных элементов.

Экспериментировали, раздавали сотки или, наоборот, отбирали личный скот, а Система, справедливая в своей основе, тем временем гнила и разлагалась, дачные кооперативы появились, и пошла мода на автомобиль и дачу. Я долгое время не поддавался искушению, но потом все же записал в кооператив дочь, хотя, честно сказать, стыдновато было, словно предал красное знамя. Но все вокруг тихо и незаметно что-то приобретали, подарки подносили начальству, мне тоже резиденты привозили, правда, я брал лишь у наиболее надежных, и то по мелочи: виски, редкие дореволюционные или диссидентские книги для культурного развития и знания противника, разные сувениры, впрочем, виски тоже называли

сувениром, а как еще называть? Приказал своему помощнику образовать подарочный фонд и передаривать нужным членам ЦК и другим нужным нам деятелям. Службу наверху считали всемогущей и богатой, посему иногда нам присылали лекала для пошивки костюмов для генсека в Италии или просили приобрести в Лондоне туфли солидной фирмы опять же для важного лица. Это тоже разлагало: если им можно злоупотреблять властью, то почему другим нельзя? Генсек коллекционировал часы, и я не раз через проверенных резидентов их приобретал, деньги, разумеется, тратились государственные, впрочем, генсек ни разу вопросов о деньгах не задавал, видимо, считал все в порядке вещей. Иногда я выезжал для ревизии в резидентуры, там отдыхал немного от нервотрепки, да и забота резидентов, включавшая хорошие рестораны и магазины тряпья, доставляла только радость. И все же эти мелкие отступления от морального кодекса никогда не заслоняли государственных интересов, а защищать их с каждым годом становилось все сложнее и сложнее. Генсеку нравилось быть в центре мировой политики, но одно дело контакты с американцами по вопросам ядерного разоружения и нераспространения, и совсем другое дело Хельсинкские соглашения и поддержка прав человека. Генсек думал, что на этот пункт мы можем легко наплевать, но вышло это нам боком: с американской помощью в стране развернулись диссиденты, требовавшие соблюдать “третью корзину”, их сажали или высылали за границу, но это не помогало. Кто мог подумать, что так упрется Сахаров со своей Боннэр, некоторые писатели в основном еврейской национальности? Сослали в Горький, закрытый город, но иностранцы все равно с Сахаровым связь держали, и он давал самые нелицеприятные оценки нашей политике в Афганистане и внутри страны. Ну, а высылка Солженицына, за которую я нес ответственность? Все обернулось против нас, хотя мы рассчитывали, что Запад оценит нашу гуманность, ведь не посадили и не расстреляли. Наша служба, делавшая ставку на “третий мир”, на национально-освободительное движение, терпела поражение за поражением: не вползали борцы за независимость в социализм, а поворачивались к нему задом. В Египте, Индии, Индонезии режимы поправели и выпали из нашей орбиты, Китай гнул свою линию и не собирался нам уступать, даже Кастро, полностью от нас зависевший, порой взбрыкивал и требовал активнее бороться с империализмом. Восточную Европу мы еще держали в кулаке, хотя много забот доставляли венгры, чехи и особенно поляки с их докерами.

Привычка к неприятностям и даже бедам вошла в меня уже в первый год пребывания в должности начальника службы, сначала я радовался приличной вербовке в ЦРУ или просоветскому перевороту где-нибудь в Африке и старался заснуть с умиротворяющим ощущением победы. Но уже наутро (если не в середине ночи) догоняли дурные вести: проклятые перебежчики, оргия двух семей в посольстве (понятно, от пьянства и скуки, но от этого не легче), туземцы загадили автомобиль резидента и прочая гадость, сопровождаемая ядовитыми звонками из ЦК. Вскоре я уже засыпал, но не с радостным чувством, наоборот, чудилось, что в моем служебном кабинете, словно шекспировские ведьмы, разожгли костер уборщицы, дала дёру вся резидентура в Лондоне, и на работу срочно прибыла комиссия во главе с генсеком для разбора злоупотреблений, совершенных якобы при моем попустительстве. Уже не казалось, что я дирижировал человечеством, соединял или разъединял народы, определял умонастроение (и даже мировоззрение) отдельных партий, а балансировал на канате, причем все время падал вниз и отнюдь не на предусмотрительно растянутую сетку.

Поразительно, сколько за кордоном происходит ЧП (а если приплюсовать еще и те, что

случаются у нас на родине, то вообще можно сойти с ума), и все они прямо или косвенно угрожают интересам нашего государства. Даже какая-то пустяковина вроде легкомысленных отношений президента Клинтона и Моники может перерасти в общенациональный кризис, в импичмент и смену всей политики страны. Половые отношения, на мой взгляд, не могут быть предметом изучения разведки (разве что в свете компрометации объектов разработки). Поэтому я первоначально отмахивался от таких сообщений, как гомосексуализм премьер-министра Эдварда Хита или свальный грех отдельных министров кабинета (неудобно даже было докладывать об этом в ЦК, это порой воспринималось, как намек на то, что и у нас возможны подобные безобразия). Но потом понял, что какой-нибудь обыкновенный французский секс может иметь непредсказуемые политические последствия. Беда в том, что все мы жили в системе, не предполагавшей свободы слова и публичности, и автоматически переносили наши особенности, включая мораль, на западное общество. Обстановка резко поменялась с приходом к власти меченного пятном, с его реформами и приверженностью к демократии. Никто не сомневался в необходимости реформ и омоложении руководства, все радовались, что на смену больным и старым людям придет новая когорта, и страна поплывет в светлое будущее с развернутыми знаменами. Но не тут-то было! Свобода, словно ржавчина, стала беспощадно разъедать все социалистическое сообщество, и прежде всего закачалась Восточная Европа, которая, разумеется, находилась под крылом службы, которую я имел честь возглавлять. В то время я еще не понимал, что Главный и его антураж поставили крест на былом единении, в том числе и на Варшавском пакте, тем более что в личных беседах руководство ориентировало меня на поддержку просоветских сил и сохранении статус-кво. Мои эмиссары в ГДР, Чехословакии и других братских странах пытались делать ставку на то, что раньше называли “здоровыми силами”, однако затеянные нами процессы пробудили к жизни самую настоящую антисоветскую оппозицию с явным националистическим душком, она опиралась на поддержку Запада и вела себя чрезвычайно активно. Дело осложнялось тем, что наша линия постоянно вступала в противоречие с закулисными и открытыми действиями Главного, который не собирался закрывать шлюзы и дал волю “освободительным процессам”, разрушающим всю сложившуюся в Европе систему, которую, кстати, сам Запад поддерживал в рамках Хельсинкских договоренностей. По сути дела, мы попросту сдали преданных друзей вроде Хоннекера или Ярузельского, мы братались с Западом за счет наших интересов, а Запад кормил нас только пустыми обещаниями. Мои доклады наверх вызывали только раздражение, и когда совершенно неожиданно для меня Главный согласился с Колем на объединение Германии, я понял, что всему конец. Последовала паническая эвакуация Западной Группы войск обратно в СССР (при этом все разворовывалось на ходу, да и обустраивать наших солдат и офицеров было негде, а на что пошли выделенные ФРГ на это дело марки, так и осталось загадкой). Да и кому до этого было дело, если потребовали независимости прибалтийские республики, весь СССР, ожили недобитые бандеровцы на Украине, и Главный метался в отчаянии, пытаясь заключить новый договор об СССР. И я метался между двумя огнями: лояльностью к Главному, который меня продвигал и, следовательно, доверял, и моими собственными чувствами и убеждениями, восстававшими против политического курса правительства. А было ли это правительство? Или горстка слепых энтузиастов, за которыми испуганно брели остальные товарищи, больше всего на свете боявшиеся, что их выпрут? В беседах со многими я чувствовал мутноватые обертона, намеки и полунамеки на несогласие (напрямую в политике говорят лишь олухи), которые не оставляли меня равнодушным и указывали на правильность моих сомнений. Постепенно

образовался довольно широкий круг осторожных единомышленников, никто не открывал своих карт до конца и в случае опасности, несомненно, сдал бы всех остальных. Идея оттеснения Главного от власти вызревала незаметно и хаотично и не походила на конкретный план, в котором было расписано все по часам и даже по минутам. Этакое дружеское или благотворительное мероприятие, не носившее обязательного характера, – отсюда и неподготовленность, и аморфность так называемого заговора, Брут или даже граф Пален хохотали бы над беспомощностью и бездарностью участников. И вновь я убедился в том, что мы не вольны управлять событиями, они крутят нами, сминают, поднимают на гребень и беспощадно сбрасывают на дно морское, и бороздишь мордой камешки, захлебываясь и выплывая (если). Невольно вспоминается Кутузов на Бородинском поле, отлично понимавший, что он не в силах направить ход сражения, он всего лишь пешка в руках вышних сил, букашка Божья.

О том, как нелепо развалилась вся страна, много написано, и грязи много вылито на тех, кто проиграл, вызвав цепную реакцию отторжения, то бишь о нас, мятежниках, – поворачивается же язык вымолвить такое! Кто-то писал: “Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе”. О поездке наших товарищей в Форос на унизительное свидание с Главным я узнал из программы “Время”, а уже на следующее утро к моему подъезду подъехал фургончик, и подполковник, нервничая и извиняясь, объявил о моем аресте. Впрочем, в тюрьму не засадили (туда пошли те, кто повыше), но должности лишили и вскоре отправили на пенсию, к счастью, сохранив ведомственную поликлинику и прочие льготы, – неудобно было демократам уподобляться мстительным тиранам. Потом пошла череда комиссий, расследовавших злодеяния за все годы Советской власти, к счастью, все захлебнулось за неимением улик. Приплетали многое, намекали и на смерть Кирова, и на убийство Михоэлса, и на дело врачей (хотя тогда никого не пришили), и так далее до самой перестройки, на которую замахивались лишь немногие, опасаясь задеть попутно “первого президента России”. А между тем главное преступление века лежало на поверхности: разлом СССР и мучения русских, оказавшихся на чужих землях, с клеймом “оккупантов” или хуже…

Однажды вечером я сидел в своем советническом кабинете (разумеется, на вахте дежурил вооруженный прапорщик) и растекался мыслью по древу, в данном случае по поводу желания жены приобрести новый махровый халат, стоил он не очень дорого, но требовал некоторого напряжения ресурсов. Неожиданно раздался звонок, и прапорщик доложил, что меня хочет видеть неизвестный вместе с молодым человеком, которого он представил как своего внука. Я попросил проводить их ко мне в кабинет. И вот передо мной явный представитель нашего ведомства (неведомые миру флюиды струятся из каждого, кто прикоснулся к тайнам организации), бодрый на вид (то бишь без палки и костылей и даже без явного пародонтоза). Юноша выглядел вполне интеллигентно и не походил на мальцов, которые на улице спрашивают, который час, а затем с помощью кастета решают проблему времени.

– Моя фамилия ничего вам не скажет, – начал незнакомец прямо с порога, я долгое время работал нелегалом и был арестован английскими властями за убийство вашего заместителя…

Такое туповатое вступление не настраивало на благожелательную беседу, и я взял выжидательную паузу, пытаясь оценить личность визитера. Настоящей фамилии я, разумеется, не помнил, да и наверняка не знал (в чащах легенд сами нелегалы порой

забывают свои истинные фамилии), но вот лицо его было знакомо, этого человека я принимал: Алекс Уилки (вдруг вспомнил!) – под этой фамилией он работал в Англии, в свое время это таинственное убийство наделало много шума в нашем учреждении и в высоких кабинетах. Казалось бы, дело выглядело предельно ясно: этот Уилки провел санкционированное расследование, которое показало, что мой зам работал на английскую разведку. Алекс бежал из Англии на яхте, в Кале на борт к нему взошел мой зам, путешествовавший инкогнито. Далее обстоятельства развертывались опасно и непредсказуемо, в дело пошло оружие, и Алекс реализовал самосуд. Дело приняло чисто уголовный характер, в результате англичане ему припаяли приличный срок. Хотя советское время было уже на излете, мы еще свято придерживались рыцарского принципа непременного вызволения разведчика, попавшего в беду. Схема уже была обкатана: баш на баш, а если иностранный баш отсутствовал, то приходилось просить гэдээровских товарищей подкинуть двух-трех арестованных агентов, не слишком мелких. Я начал вентилировать этот вопрос в кремлевских коридорах (конечно, вылезать прямо на ковер к Главному не рискнул), однако результат оказался неожиданным и неутешительным: нам предлагалось не суетиться и сохранить статус-кво. Пояснили: дело носит уголовный характер, английская Фемида отличается чрезмерным консерватизмом, и на ее честь боятся посягнуть и спецслужбы, и даже королева. Господи, подумал я, посмотрели бы на нас великие авантюристы вроде Казановы, Лжедмитрия II или Соньки Золотой Ручки, как низко мы пали! И никто не рвет из-за пояса пистолет, не разрабатывает многоходовую комбинацию, где быстроходные автомобили, вертолеты, перестрелка. Ведь можем, ведь совершали, помнится, вытащили тов. Х. из тюрьмы, погрузили в самолет, на пути выбросили освобожденного с парашютом, а дальше он на машине добрался прямо до “пункта Чарли” в Восточном Берлине. Ныне пришло время бюрократических закорючек, что скажет Ее Величество или вечно праведная Фемида? Нам ли, могучей спецслужбе, думать об этих пустяках! Неприятный отказ от действий по освобождению захваченного разведчика заставил меня вспомнить диалог с Главным несколько лет назад, когда, как говорится, процесс уже пошел, но отнюдь не казался бесповоротным и окончательным.

– Боюсь, что нам следует заручиться более твердой поддержкой Запада, одной дипломатии мало, ведь нам противостоит огромная машина и здесь в стране, и в среде наших товарищей по оружию в Восточной Европе…

До меня сразу и не дошло, о чем говорил Главный, на что намекает. Неужели речь идет о борьбе с товарищами по оружию?

– Нет ли у вас на примете человека, который перекинул бы мост между враждующими службами, провел своего рода конвергенцию и обеспечил бы нам тылы на случай отступления? – продолжал Главный.

Наступила оглушительная пауза, я чувствовал, что Главный насквозь просверливает меня своими глазенками, но язык отнялся у меня – честно говоря, голова отказывалась понимать, казалось бы, вещие слова Главного. На моей физиономии, очевидно, отпечатались и сомнения, и растерянность, ибо мой собеседник состроил траурную мину и молвил:

– Ну ладно! Видимо, пока будем решать иные проблемы. Придется идти другим путем, как Ильич.

Потом я долго думал: каким путем? Куда и зачем идти? Что это за странный мост между нами и главным противником? Больше Главный эту тему не затрагивал, да и я старался держаться от нее подальше. Впрочем, завертелись другие дела, одно событие наседало на

другое, и мне стало казаться, что шеф зондировал меня, не особенно представляя цели зондажа (такое у него бывало).

И вот он стоял передо мной, состарившийся актер, сохранивший, однако, свой пыл. Он требовал справедливости, но не раскрывать же ему государственную тайну? Справедливо или несправедливо усадили его за решетку? – вопрос риторический, с нашей кочки несправедливо, с их же – туда ему и дорога, шуточка ли проливать кровь на яхтах под британским флагом! Но почему наши вершители судеб столь вяло отнеслись к судьбе героя (как его еще назвать?), не поддержали идею побега. Политическое столпотворение и хаос перестройки? Привычная осторожность, проникшая во все дыры общества? Нежелание брать ответственность на себя? В причинах я так и не разобрался, несмотря на некоторые поползновения (обычно разводили руками и указывали пальцем в небеса, мол, неисповедимы пути руководства). Правда, насчет неисповедимости верхов я всегда догадывался, но тут речь шла о чести мундира службы. Удобный момент явился, когда великий революционер, став президентом благодаря распаду всего Союза, неожиданно объявил амнистию всем политзаключенным, в число которых по странной причине вошли арестованные агенты ЦРУ и СИС. Волею жестоких обстоятельств я в то время был выброшен из рядов, однако нашел возможность донести до власть имущих простую мысль: в лондонской тюрьме томится наш нелегал, которого следовало бы выпустить. Ответили мне в обычном витиеватом стиле, объяснили, что процесс пока еще очень хрупок и требует осторожности, наконец, американская и англосаксонская судебные системы совершенно независимы от государственной политики, и пересмотр приговоров по инициативе правительства и прочие формы вмешательства могут привести к импичменту и отставкам. Осторожность, осторожность, осторожность, господа! Так мне аккуратно и заткнули рот, а иностранные шпионы, включая наших предателей-шифровальщиков, грелись в это время на собственных виллах в Санта-Монике и на Лазурном Берегу (некоторые, правда, подали иски на своих хозяев, требуя выплатить компенсацию за годы в советских лагерях).

– Извините за вторжение, но мне хотелось бы узнать (ох уж этот конъюнктив!), предпринимала ли служба меры по моему освобождению? – нагловато начал Алекс, а его внук вперил в меня свои бельма, словно фотографировал.

– Мы пытались найти юридические основания для подобных действий… – осторожно ответил я.

– Какие это еще юридические основания? – неожиданно агрессивно перебил меня юнец.

– Я говорю не с вами (вот наглец, адвокат прыщавый!). Дело в том, что на суде вы не назвали свою настоящую фамилию и не указали на принадлежность к нашей службе… От чего же танцевать?

– Ну и щепетильность! Вроде подарка царя графу Бенкендорфу – носового платка для утирания слез обиженных! – возмутился Алекс, кстати, совершенно справедливо.

– Тем не менее мы оказались в сложнейшей ситуации… Поставьте себя на наше место… да еще с учетом политической борьбы в партии вокруг перестройки, распадом Варшавского договора, а потом и всего Союза. Да и на кого вас менять, если президент амнистировал всех агентов?

– Бывали времена, когда на эту тему особо не размышляли. Абеля запросто обменяли на Пауэрса, нелегала Лонсдейла – на связника Пеньковского Винна, а за арестованного западными немцами зама шефа БНД Фельфе вообще отдали несколько десятков агентов… –

Уилки, видимо, вообразил, что он выступает на диспуте по поводу общечеловеческих ценностей.

– Так вы явились ко мне для восстановления справедливости? Имеете моральные и материальные претензии? Требуете выплаты зарплаты за проведенные в тюрьме годы? – мне начинал надоедать этот симпозиум.

– Неужели я похож на такого идиота? Или я просто не в курсе, что наша организация уже официально не существует? Да и как вы можете мне помочь, когда вы сами еле-еле сводите концы с концами в этом несчастном банке? Разве что в роли свидетеля на публичном суде…

Тут он был совершенно прав, и я внутренне расхохотался, представив себя в роли свидетеля, с шумной прессой и ТВ.

– К сожалению, уважаемый товарищ Уилки, я ничего не знаю по вашему делу. Одно могу сказать: убитый не был Крысой в нашем с вами понимании этого слова, он выполнял иные функции, мне не известные.

Конечно, Уилки преступник, думал я, и все мы из одной шайки, но разве Россия – это не перманентно преступная страна?

Георгий Иванов написал:

> Россия тишина. Россия прах.
> А может быть, Россия – только страх.
> Веревка, пуля, ледяная тьма.
> И музыка, сводящая с ума.

Преступным был царский режим, этим же путем шли и большевики, а ныне их антагонисты – демократы, которые слились с бандюками (если ими не были), окружили себя охраной (как правило, криминал) и подчинили себе “органы” – новая конфигурация, подтверждающая тезис о перманентной преступности.

– Выходит, вы не можете мне ответить… – вздохнул Алекс.

– Выходит, не могу. И поймите, что даже я, бывший начальник секретной службы, почти ничего не знал о ситуации в ПБ, это была святая святых. Но вам я советую быть осторожнее: все-таки на вас лежит печать убийства.

– Тогда извините за вторжение… нам пора, – заметил визитер и стал пятиться задом к двери, словно после вручения падишаху украшенного золотом слона.

Мне оставалось только открыть свежий кроссворд и погрузиться в другого рода загадки.

Глава семнадцатая о том, что совесть и ложь имеют одну материальную основу, и потому не надо содрогаться над откровениями Совести Эпохи

> Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а денег не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, я знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею денег, – то я ничто.

Джордж Орвелл

Впервые я прочитал второе послание апостола Павла к коринфянам много лет назад, однако не в Священном Писании, а у Джорджа Орвелла в книжонке со своеобразным названием “Пусть реет аспидистра”. Последнее, согласно Ларуссу, всего лишь азиатский ландыш, и столь необычное название звучит не лучше и не хуже, чем “Не дай себе засохнуть”. Старина Орвелл, которым в нашей безумной стране зачитывались до умопомрачения, весьма хитроумно видоизменил послание Павла и вместо слова “любовь” вставил “деньги”, в результате получилось нечто вроде катехизиса современного мира: “… так что могу и горы переставлять, а не имею денег – и я ничто”.

Наверное, апостол так и считал (ведь не случайно близок он, прежде всего, предприимчивым лютеранам, англиканцам и прочим протестантам), а потому бессмысленны все теории о первобытных, средневековых и прочих строях – деньги (даже в виде обмена шкур на копыта) всегда определяли путь и устремления человека. К счастью, иные мысли никогда не посещали мою голову, а идеи безденежного общества равных пауперов вызывали только отвращение. До сих пор не могу понять, каким образом клюнули на идеи Маркса умнейшие люди того времени, страдали, шли на эшафот и в атаки, превратили огромную страну в полигон для мертвой теории и укокошили ради этого миллионы, причем совершенно искренне, мол, лес рубят – щепки летят. Все теории меня недолго волновали, я понял сразу: не выношу быдла! Ни в глобальном смысле, ни по мелочи. Ширма вечности: дама в красном шелковом платье, отороченном хвостами росомахи, дама в желтом, переходящим в фиолетово-белый, с синим шарфом, ниспадавшим к ногам. А на обратной стороне журавли и цапли, милые длинноклювые создания, цвет души моей.

Всю жизнь прозябал я в коммуналке, в одной комнатушке с выходом на шумную улицу. Авто шли гурьбой от вокзалов, грохотали на полную мощь круглосуточно, и странно было, когда затихал вдруг неистребимый гул. Отец бросил нас сразу же после моего появления на свет, а мать трудилась акушеркой в районной больнице. Жалкая нищета, блестящая биография для борца за народное дело, это не благодатное житие в цивилизованных симбирских апартаментах. Пожалуй, ближе к жилищу пьяницы-сапожника в Гори. Учился я прилежно, но без блеска, вполз в строительный техникум, подрабатывал на дачках у сильных мира сего, но проблему финансов это не решило, только разожгло аппетит. Неожиданно для себя поступил на вечерний Геологического института. Понравились геологические партии, поездки по всем уголкам страны, разные амурные приключения и даже костры с подгоревшей кашей в чугунке, сдобренные бодрыми песенками под гитару. Однажды

случилось мне проходить мимо отеля “Националь” (там я разок бывал, угощался бульоном с яйцом по случаю зарплаты), и бросился мне в глаза гражданин явно иностранного вида, с растерянной физиономией и кожаной сумкой на плече. Не знаю, но что-то сработало у меня в душе, я преодолел вполне понятный страх (было широко известно, что всех иностранных субчиков держали под контролем наши доблестные органы), подошел и поинтересовался, чем могу помочь. Турист оказался немцем, попавшим в беду: наши деньги у него кончились, а курс в обменном пункте не устраивал. Так в мои руки попали первые пятьсот марок, их я потом перепродал за очень приличную сумму. Но это был первоначальный капитал, который надлежало превратить в груду презренного металла, управляющего миром, создать свою финансовую империю.

Иногда делился я этими сокровенными мыслями со своим другом детства, ставшим шпионом-нелегалом, Аликом (тогда он казался мне чуть ли не апостолом), который нелепо легендировал свои отлучки за кордон выездами в геологические экспедиции, о которых не знал ни бельмеса. Зато во время отпусков и прочих визитов на родную землю он привозил разные неприхотливые заморские штучки (тогда они потрясали) и, главное, солидные запасы виски, которые мы моментально превращали в прах, и тогда славно переходили за его денежки на беленькую и на портягу. Но времена менялись, при Горби, несмотря на все ужасы бесчеловечной антиалкогольной кампании, появились кооперативы, которые пришлись мне по вкусу. Тогда я и организовал славную фирмочку по перепродаже (тогда многие мракобесы мазали нас словом “спекуляция”), продавали все и имели на этом простеньком деле весьма приличный навар. Именно в то время я и стал борцом за народное дело, регулярно посещал демократические митинги, гордо ходил на демонстрации, отбросил своего тогдашнего кумира Горби, поменяв его на динамичного (правда, не всегда) Бориса.

И тут совершенно неожиданно, словно снег на голову, случилась августовская революция, я назвал бы ее буржуазно-демократической, стремительно переросшая в буржуазную. Тут и пригодились моя активность на капиталистическом фронте (уже и основной капитал был сколочен немалый), прочные связи среди демократов-единомышленников, особенно в окружении нового президента. Из безвестного торговца перекупленным старьем я превратился чуть ли не в национальную фигуру, вошел в Думу, получил портфель в правительстве, который сравнительно быстро поменял на хлебное место торгпреда в одной уютной европейской стране (ее банки стали пристанищем для моих капиталов). В самые первые годы нашей революции (моей революции! разве я не участвовал в демонтаже памятника Феликсу?) все было чрезвычайно зыбко и ненадежно, особенно копошились левые, грозя радикальной ренационализацией. Но недолго мучилась старушка, и мы сумели мягко удушить оппозицию, даже пришлось пострелять в восставший парламент из танков (о последствиях особо не заботились, знали, что история все спишет и оправдает победителей). Во времена приватизации, в которой я играл не последнюю роль, я на собственной шкуре осознал, что история движется не по гегелевским законам детерминизма, а творится самими людьми. Именно тогда мы и начали создавать широкую базу для реформ правительства, которое висело на соплях, не имея никакой политической поддержки, кроме купленных нами СМИ, особенно телевидения. Тогда и появился новый класс собственников, плодивший себе подобных, за ними следовала целая армия охранников, разного вида уголовников, инстинктивно поддерживавших новую власть и наживающих капитал. Беспредел творился страшный, но мы смело шли вперед, прикрывшись лозунгом исторического сходства наших реформ с периодом первоначального накопления, через

который прошли все капиталистические страны (это звучало так же убедительно, как тезис о прохождении через первобытно-общинный строй всем человечеством).

Однажды меня посетила идея, поставившая на место все мои метания по поводу собственного уникального вклада в историю: по сути дела, мы перевернули страну и поставили ее на совершенно новые рельсы. Нам бы памятники на городских площадях, нашими именами назвать бы города и веси (не говоря об улицах, переулках и, возможно, тупиках), нам бы пантеоны и мавзолеи! Разве я не реализовал свои способности политического организатора? Да по масштабам своих деяний я ничуть не меньше, чем какой-нибудь Д'Аламбер или Потемкин, хотя им и в голову не приходило проводить такие дерзкие реформы! Единственно, с кем могли мы, реформаторы, сравниться, так это с одержимыми большевиками, хотя гораздо проще экспроприировать частную собственность (тем паче, что все было развалено), нежели отдавать неуправляемую государственную машину в частные и отнюдь не чистые руки. Впрочем, капитализм и не может быть чистым, рынок по сути своей грязен и отмечен бандитизмом, но Бог с ними, с преступниками, главное, что мы дали шанс хотя бы небольшому проценту населения вырваться из одинаковости, из совковой бедности… Мы открыли границы не только для капиталов, но и для человеческих душ, запертых в чреве диктатуры партии, миллионы вырвались за рубеж, тысячи ухитрились купить себе там апартаменты и даже замки. Распад великой державы меня не пугал: в конце концов, вся человеческая история – это бесконечные слияния и разъединения, зачем абсолютизировать русскую колонизацию Кавказа, Средней Азии и Сибири? Разве Римская или Британская империи остались нетронутыми и не превратились в десятки новых государств? Где они, хазары, халдеи, финикийцы?

Вот движется Алекс с внуком, на экране видеонаблюдения, он – как герой сумрачной картины Висконти. Конечно, он изменился, пренебрег, видно, фитнесом и тренингом. Я тоже, конечно, уже не тот, но все же тяну огромную машину, да и от плотских соблазнов не отказываюсь. Первая пропускная линия пройдена, с ним внук, видно, просчитавший свои пироги в корзине наследства. А есть ли у него что-нибудь за душой? Он же всегда цитировал Прудона, его бездарное "собственность – это кража", запоминается легко и осмысления не требует. От щедрости не мучился, привозил в подарок из загранки пластиковые пакеты, только входившие в моду, шампуни в бутылочках из отелей, оттуда же сетки для держания волос, старые глянцевые журналы, замятые на бабских фото, да, еще спичечные коробки из ресторанов да разного вида жвачку.

…Материализм, нацизм, пофигизм – слова эти всегда звучали для меня отвлеченно, я предпочитал вкус вишни любованию вишневым садом. Коллективизм ужасен своим дискомфортом: за столик в ресторане подсаживается потный субъект и чувствует себя таким же полноправным хозяином стола, он изрыгает наглое "разрешите?" и черпает чайной ложкой зернистую икру из моей вазочки, будто бы по забывчивости, любуясь ампирным потолком. От него несет козлом, колбасным сыром, баклажанной икрой, любительской колбасой, потускневшими антрекотами из "кулинарии", пельменями в мятых бумажных пачках, петушками на палочке, напыщенно траурной очередью в мавзолей (на меня там нападали бешеные колики в животе), мороженым в стаканчиках в ЦУМе. При этом козлы поют прогресс и славят свободу, равенство и братство в полной убежденности, что эти странные понятия в действительности существуют, им и в голову не придет, что это всего лишь болтовня для превращения козлов в рабов.

Алекс с внуком уже прошел первую пропускную линию, ему и в голову не приходит, что

охрана у меня состоит из нескольких зон и рассчитана не только на возбужденные массы, рвущиеся по мраморным ступеням на штурм ненавистного дворца. Что там бонза германской разведки Шелленберг с его немецкими овчарками, следившими за каждым жестом посетителя, какая наивность! чего стоит выхватить пистолет и уложить и шефа, и овчарок… Что же в голове у Алекса? Наверное, вспоминает наши встречи после его загранок, когда он регулярно вручал мне в подарок муру, прихваченную в роскошных отелях, где он жил за госсчет… Сувениры с признаками забугровых стран и городов из принципа не дарил: конспирация! о, конспирация! Смотрел, как я реагирую, не течет ли желтая слюна от восторга. А я ведь притворялся совсем другим, я ненавидел его власть и его самого, тонтон-макута. Всю жизнь я тайно пытался сколотить капитал, ибо верил – ах! ах! – в мощь золотого тельца, ради него и джинсы перепродавал, и даже носки нейлоновые, ради которых простой стиляга душу готов был дьяволу заложить. О, если бы Алекс знал, что его верный дружок с детства носил в себе одну благородную мечту: стать Ротшильдом или Морганом. Однажды в моей юности, овеянной романтикой первозданного капитализма, словно с неба рухнул на меня клад: на барахолке у какого-то замызганного старца купил я самый настоящий “Breguet” с будильничком, который с легкой руки Пушкинзона именуют брегетом. На самом деле, основал фирму Абрахам-Луи Бреге, урожденный Невшателя, творивший потом во Франции. От него пошел и дизайн стрелок и цифр Бреге, и регулятор хода, не требующий смазки, и гонг-репетир. Я гордился тем, что такими же часами обладали герцог Орлеанский, королева Франции Мария-Антуанетта, Наполеон (он однажды заказал сразу три пары!), герцог Веллингтонский, великий Черчилль. И мне, обладателю бесценного брегета, наш тонтон-макут дарил пластиковые пакетики, дабы я картошку и свеклу не носил в национальной авоське. Впрочем, на виски он не скупился, бутылки не считал, правда, налегал и сам с истинно социалистическим энтузиазмом. Пить в одиночку не мог, только в исключительных случаях (у тонтон-макутов их невпроворот). Вообще-то скромник до противности. Купил синий “мерс”, – так садись за руль уверенно, а не будто в страхе, что сейчас подбежит фраер в грязном ватнике, уцепит пониже спины и вытащит на поругание толпы. А потом еще напишут в макутовское учреждение о нескромности и несоответствии духу трудового народа. Вот и стоял мерсик-персик в затхлом гаражике на окраине города. Он и часы золотые, швейцарские (конечно, не пара брегету) старался не носить, но не из природной пролетарской скромности, а боялся… трясся, что обвинят в увлечении буржуазной жизнью. Жутко переживал, что обвинят в буржуазности, дурак. Другой бы гордился, напялил бы на себя драгоценности, разные Pallavicini и Piero Milano, чего их скрывать? Ведь это прекрасно! Жизнь одна, она, увы, быстротечна, и не наденешь золото и бриллианты в ангельских кущах, только ордена за шпионство, курам на смех! А я, как и все население, уважал конспирацию и охранителей государства, я думал, они особенные, я думал, они герои, хотя и враги мои по духу, – опричники, тогда я смотрел на них снизу вверх и трясся от ужаса, что застукают при перепродаже джинсов. Забыл, что все они детушки чернорабочих и парикмахеров, еле вылезших из церковно-приходских школ и местечек, недоучки, привыкшие к баракам и общежитиям, к сральням во дворе и бане раз в неделю. Зато частную собственность на словах оплевывали и задрыгу Энгельса, лизавшего своего Курлы-Мурлы, при этом цитировали, как истину в последней инстанции.

А они оказались, как и все тонтон-макуты: труха!

Я понял это уже в самом начале 90-х, когда сдрейфили, все прокакали, ничего не защитили, макаки. Попробуй сейчас, отбери у меня задарма этот небоскребишко, или

перестрой в Рабочего и Колхозницу фонтан в честь Меркурия у моего коттеджа! Неужели я буду слушать равнодушно призывы все это смять и превратить в пыль?! Или взирать, как они стягивают с постамента идола, когда рядом здание-крепость, из которого можно палить из пушек?! А какое творилось безумие в период расцвета империи! Никому и в голову не приходило, что расцвет предшествует распаду, все цветы расцветают, и кадка лопается. Алексашке-заднице казалось, что его пресловутое ведомство на плаву, и щупальца его проникли во все секреты противника, и текут ручьи информации в мозговой центр. Но ведь и центра не было. И никто не читал тонтон-макутовых бумаг! Встав с левой ноги, принимали решения. Да и что может написать тонтон-макут? И все потому, что страна бесхозная. Будь у меня в кармане хоть заводик, разве я допустил бы такой раскардаш? Ничто так не укрепляет государство, как личная собственность. Но вкупе с сильной ручищей, не позволяющей собственникам дрыгаться и грызть друг друга. Если надо, размазывать по стене недовольных, сминать их мольбы, пресекать любой, даже хилый, диссент. Тонтон-макутам, как и санкюлотам (что означает бесштанные), кажется, что они из особого теста, кажется им, что они соколы из пресловутой сказки. Выкрасть бумаженцию о том, что у королевы-тети Маши на неделю раньше выдались менсы – подвиг для тонтон-макута. А вот в новом мире чистогана (слово-то мерзчайшее!) не красть положено, а создавать. Если надо, партию, если надо, биржу, или воспитать фанов американского кино, которые определят всю эволюцию кинематографа.

Когда Алекс надирался со мной до положения риз, то мнил себя мировым пиитом, брызгая вонючей слюной, читал навзрыд сначала чужие стихи, а потом – и это самое страшное – и свои собственные. Начинал обычно с комиссаров-жеребцов в пыльных шлемах, хлюпал носом и переходил к любимым ржавым листьям на ржавых дубах, которые облетают и никак не облетят – была у него непонятная тяга к героям той самой проклятой октябрьской бучи, поставившей страну с ног на голову. Распалялся на гражданской теме, и наступало время лирики, тут он всем своим бабам открывался в неистовой страсти, и зачем? Бабы разные, но не всем же петь дифирамбы, некоторых гнать железной метлой, а он, всеядный принц, славил всех, завывал трагически и из каждой случки делал Событие чуть ли не планетарного значения. Мне признавался, что мешала ему влюбленность в собственную жену, совесть просыпалась и рубила под корень порыв страсти. Что делать? Натурально, заглотнуть бутылягу, она облегчит совесть. Ну, а почему он на ночь иногда надевал шапку? Иногда вязаную, иногда ушанку. Большая загадка тонтон-макута. О том, каким образом я проведал об этой странности, пока промолчу… хотя бабу его я не пропустил, а почему бы нет?

О, если бы он мог чувствовать, как я его ненавидел! Но виду не подавал, ибо виски был из его заграничного кармана, и не в моих правилах нарушать игру, если все проплачено партнером. Чувство чести, наверное, самое главное в жизни, оно покоится на золотой основе, оно посильнее разных вшивых идеологий с крикливым: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” Захватили власть, но так и остались с оковами на руках и в душах, рабы – всегда рабы.

Больные.

Вот и Императора-Освободителя ухайдакали, психи, для них смерть – вроде счастья избавления от жизни, купание в царской крови, coitus interruptus комплексов неполноценности, божественная литургия в предбаннике рая. Власть предержащие дали маху, нарушили стабильность под действием всеобщей болтовни, запутались в реформах и

допустили недоучившуюся чернь к корыту. В результате все друг друга перестреляли, finita la comedia, signore! А ведь за всем этим не вонючие мужики стояли, а бескорыстные и одержимые вроде бы интеллигенты, Софья Перовская, Вера Фигнер, Геся Гельфанд, Брешко-Брешковская, как я ненавижу революционеров, особенно, баб! Скорее всего, они не мылись, хотя и потели нещадно, особенно когда под одеяло шмыгал какой-нибудь мускулистый Желябов с замашками жеребца. Запах пота ассоциировался у меня с революцией, с кровопролитием, со зловонными месячными…

Удивительно, что наш тонтон-макут так возлюбил Идею и ее воплощение. Папашка, мелкая сошка, в лагере служил, жили не во дворцах, сапоги еврейчикам чистили, языком зализывали, даже авто жалкое в собственности не имели. Сам Алексашка (так мысленно я его окрестил) жил в “двушке” с женой и сынком, геолог сраный (соседи, люди ушлые, не сомневались, что он типичный тонтон-макут, и к тому же темнила).

М-да, как поменялись времена! Теперь я – бог, а он – жалкий червь, теперь он семенит ко мне со своим внучонком то ли с просьбой, то ли с предложением, то ли просто так, пошушукаться, посплетничать о прошлом и настоящем. На подлость он не способен ибо не видит врага. А врага требуется различать в любом homo sapiens. Лучший сегодняшний друг завтра перевертывается во вражину. Усатое наше прошлое всем государством так вертело – и был образцовый порядок. Правда, иногда приходилось актерствовать, потискать шелудивую девчушку, вроде Мамлакат, на трибуне, ласково помахать ручкой восторженным толпам марширующих идиотов. Потом отправить папашу девчушки на перевоспитание куда-нибудь подальше. Высший пилотаж, аплодисменты всего человечества. И нет места хлипкой сентиментальности, где на скрижалях записано, что я обязан переводить слепого за руку? А ведь слепы почти все! Муть нападала на меня при виде бредущих слепых, я чувствовал смрадный запах немытых тел, я дрожал, представляя, что слепой случайно дотронется до моей руки. И чудилось мне стадо ослепших гусей, тихо гогочущих про себя над пропастью. Добрым самаритянам нет места под солнцем. Они живут в сказках и мифах, порождая иллюзии и горы несметные заблуждений. Из-за них и проливается кровь, хотя все они орут “не убий”. Им кажется, что они жертвуют собой ради счастья всего человечества, а на самом деле именно из-за них и льется кровь, и умножаются страдания ни в чем не повинных людишек. Идеализм? Дурость? Все несчастья от этого: шли в народ, сопляки, подбрасывали дровишки в октябрьскую мясорубку, разорвали на куски страну, сбиваясь в бешеной схватке за власть, даже в Испанию ухитрились сунуться, сбежались правдолюбцы со всего света, без роду и без племени, и порешили защищать республику до последнего. Обломилась им республика, не жаждал ее народ, предпочел умного диктатора. А что республиканцы? На ум идет рецепт идеалиста-болтуна Бакунина, в свое время советовавшего вождям дрезденского восстания выставить на городские стены “Мадонну” Рафаэля и сообщить прусским офицерам, что, стреляя по городу, они могут испортить бессмертное произведение искусства. Рыдаем от смеха, господа! Все тот же идиотизм интеллигентности. Ну, а про войну страшную и говорить нечего, думали, что Адольф не будет спешить, повременит. Дождались!

…Наступила пора выходить на сцену. Сейчас бы великого Вагнера под его собственным дирижерством, прямо в имении в Байрейте, на зеленом лугу, Зигфрид запевает, валькирии подхватывают, публика рыдает вместе с Лорелеей.

– Какие люди! – И я распахнул объятия навстречу гостям.

От него чуть подванивало чем-то из садов “Диора”, но, к счастью, не “Шипром”, к

которому он был привязан всей своей тонтон-макутовской душой (об изысканных “Yatagan” и “Kouros” он, наверное, даже не слышал). Долю секунды я колебался: целоваться ли или обойтись похлопываниями и поглаживаниями по спине, словно в поиске забравшихся под рубашку клопов. Не обошлись. Получилось довольно мерзкое касание щеками, осторожное, вкрадчивое, трусоватое, словно два пса обнюхивали друг друга на предмет случки. Далее – самый неприятный момент: придержав за талию, рассматривать друг друга с деланным вниманием. Не виделись век. Подсоскучились. Изучаем коронки, угри на носу, пустоту в глазенках. Вздохи восхищения, напоминающие стоны страдающего геморроем пожилого воробья.

– Давайте присядем! – я сделал широкий жест в направлении кресел, сгруппированных у стеклянного стола. – Кофе, чай, виски, текила?

Внучек никак не мог отодвинуть креслице по правую сторону от меня, он даже запыхтел, но Алекс подлетел к дитяти и помог ему вперить зад в сиденье. Гость выглядел уж не так плохо, хотя в отличие от меня вряд ли тренировался в фитнес-клубе, пил свежевыжатые соки и заботился о простате с помощью молоденьких массажисток. Но что поделать? Таков удел – каждому свое.

– Спасибо. Пожалуй, виски. Давненько мы с тобой не выпивали… – неопределенно заметил он, вертясь в кресле, словно на карусели.

– Тебе, наверное, чаю? – обратился я к внучку. – А может, поиграешь в дарты, у меня они в соседней комнате… (замысел был отправить раздолбая за пределы).

– А у вас не найдется бокальчика “Шато Марго”? – вдруг вякнул киндерсюрприз.

– У тебя хороший вкус. – Я придал физиономии полное равнодушие, словно в моем офисе сие вино подавали всем сотрудникам по первому требованию.

– А то! – отозвался наглец в манере современных ублюдков.

Бокал с вином приволокли через минуту. Чуть причмокивая, внучок отправился к дартам, хотя его торчащее ухо не теряло бдительности.

– У тебя, наверное, назрела масса вопросов… – молвил я многозначительно.

Алик вскинул на меня очи, словно не ожидал никаких вопросов, чуть повременил, но разродился.

– Кто стоит за моим возвращением на родину?

Вопрос покруче, чем пилатовское “Что есть истина?”, интересно, долго ли он его вынашивал.

– Попробуй догадаться все-таки. У англичашек и американашек для такой операции слишком мал IQ, гораздо меньше, чем у собак. Да и зачем ты им, если они сами тебя выпустили?

Алексашка кивнул головой, но выглядел воистину растерянным, видимо, каталажка изрядно подорвала его мозги.

– Может, я понадобился неким третьим силам вроде масонов?

Я только расхохотался, это было посильнее театра Эстрады, ставшего совсем придурочным.

– Не ломай голову, старина! Конечно, я! Кто еще любит тебя столь искренне и нежно?

Алексашка пару секунд переваривал эту сногсшибательную информацию, ворочая ледышки в стаканчике виски. Ледышки стучали успокоительно, навевая мысли о весеннем паводке на Северном полюсе, сейчас бы соловья и сонм бабочек средь всколыхнувшихся цветов.

– Я и не сомневался, – привычно соврал он, демонстрируя примитивную, хотя и надежную, тонтон-макутскую выучку. – Причины?

– Сам ты не догадаешься. Кто, кроме меня, может обеспечить тебе приличную пенсию? – Я ядовито усмехнулся.

– Однако, ты сука! – сказал он.

– Куда исчезла твоя выдержка истинного джентльмена?

– Sorry.

– А тебе не приходит в головешку мысль, что тебя могут судить?

Он придал физиономии особую невозмутимость, на которую способны только преданные поклонники “Шипра".

– Меня уже судили. Интересно, за что еще?

– А ты не допускаешь мысли, что за то же самое?

Тут уже он не стал скрывать удивления, позвенел ледышками в виски и приготовился слушать.

– Сначала я хочу сделать небольшое признание. Дело в том, что я всю жизнь ненавижу тебя и тебе подобных, раскатывающих по всему миру. У нас на телевидении имеется такой субчик, globetrotter, лягушка-путешественник. Он выступает в цветных пиджаках с зажравшейся белой крысой на плече и информирует идиотов о жизни в разных странах. Нечто сродни вашему брату-шпиону. Правда, вы сообщаете обо всем тайно, а он – на весь мир. Тем не менее я до сих пор благодарен тебе за виски и особенно за пластиковые пакеты, которых тогда еще не было в нашей великой державе. Надеюсь, это не старая тара, которую ты вывертывал и аккуратно мыл под краном, дабы она сошла за новую.

Тут он напружинился и, по-видимому, даже обиделся.

– Не думал я, что в тебе сидит такая язва…

– Я и раньше был такой, только виду не подавал, подстраивался. Как и все. Но дослушай меня до конца. Пока ты славно шуровал на Западе со своими шпионскими делишками, я занимался собственным капиталом.

– Неужели можно сколотить капитал на торговле заграничными носками? – Он бушевал, но старался сдерживаться.

– Боюсь, что тебе этого не понять. К тому же перепродажа носков пала у меня на этап первичного накопления, самого первичного. Не уверен, что ты внимательно следил за нашими политическими мутациями, поэтому напомню. Пережив короткий период вождя-параноика, который отлавливал граждан, гулявших во время рабочего дня, мы вошли в благодатное царствие нового начальника с Божьей отметиной. Он припомнил, перелистывая свои конспекты в партшколе, что лысый вождь-основатель в период многомесячной агонии привязался сердцем к кооперативам, кстати, слабо представляя их суть. Но новый партайгеноссе, слепо веря в мудрость вождя, тут же взял все это на вооружение, превратил в генеральную линию и нацелил на нее все свое баранье стадо. Кстати, только некоторые твои коллеги поняли, что это та самая страшная реставрация капитализма, которой, как чумы, боялись все большевистские архангелы. Троцкий только и твердил о новом классе, который, устав от собственной глупости, разом и прикарманит всю ту частную собственность, которую он национализировал. Сталин, правда, не верил, что его сотоварищи способны на такой переворот, но он вообще не шибко петрил в собственности и боролся со шкурниками, которых карал за присвоение трофейного имущества, рвачество и стремление жить богато. После его смерти вожди начали ездить за границу, присматриваться к барахлу, обзаводиться

собственными дачками и авто. И вот настал час, лозунг “обогащайтесь” стал официальным знаменем, и уже никому не мешал.

– Идиотам позволены вопросы? А то от этой лекции уже дохнут мухи…

– И хамам тоже позволены, – не потерялся я с ответом. – Валяйте, сэр!

Я покосился на позолоченную китайскую лягушку, она мерно, по-конфуциански покачивала головой, рядом бронзовый бычок держал на рогах папье-маше, которым ничего не промокали ввиду прогресса, уведшего человечество к шариковым ручкам. Он зачем-то расстегнул пуговичку на своем пиджаке от “Austin Reed”, галстук в голубую полоску, близкую к итонской, чуть выполз наружу (Алексашка вообще как влез в свое время в аглицкий стиль, так там и навеки застрял) и вытянул ноги в замшевых “Churches’”. Как давно я от всего этого ушел! Но пришел к другому: к моему кабинету примыкала комнатушка для отдыха, там в шкафу висели и смокинг, и фрак, и набор деловых костюмов, однако за столом я комфортно чувствовал себя в тренировочных брючках с начесом, далее – белая рубашка и вязаный кардиган. Самое главное: в оном одеянии всегда можно было размяться в той же комнатушке, где стояли вполне прогрессивные тренажеры.

– На кого рассчитан этот политпросвет? Можно ближе к делу? И при чем здесь ваш покорный слуга? – Он явно занервничал.

Мне некуда было торопиться, наоборот, хотелось потянуть и посмотреть, какие метаморфозы он будет претерпевать по мере проявления пленки. Я наслаждался тайной властью над Алексашкой, словно вертел всем тонтон-макутством. Если бы в моем письменном столе хранились пластиковые пакетики для хранения овощей и фруктов, я обязательно презентовал бы их герою невидимой истории.

– Я стараюсь облегчить понимание нетерпеливого джентльмена, роковой момент только наступил, сейчас начнется дележ, и все шакалы кинутся на добычу, вцепившись друг другу в глотки. В этот момент страна, словно на качелях, то взлетала вверх, то резко опускалась вниз. Главный вдохновитель этой пертурбации чувствовал нестабильность: все меньше союзников у штурвала, все громче крики возмущенных, все острей напор оппозиции. Трон зашатался, и осталось уповать лишь на западную помощь. Займы, спасение от нищеты, удержание власти. Ради всего этого допускался даже ввод иностранных войск и заточение в тюрьму всех недовольных. Нужен был тайный мост, требовалось надежное плечо в ожесточенной борьбе за власть. Не знаю точно, каким образом генсек вышел на известное нам лицо, хотя догадываюсь, что многолетнее купание Челюсти в одной ванне с власть предержащими обеспечивало ему многие контакты…

– Кажется, я начинаю понимать, куда ты клонишь. Но где доказательства всей этой аферы? – прервал он меня. – Ведь можно навинтить все, что угодно.

– Бывший генсек жив и здравствует, хотя и не у дел. Могу устроить аудиенцию, хотя ты и не даешь мне закончить рассказ.

Он сделал жест, словно разрешая мне продолжать, и сделал нарочито скучающее лицо, став похожим на кинокефала (были такие существа с собачьими головами, не имеющие, как ни странно, отношения к кино).

– Действовать в обход соратников всегда считалось преступлением, но он пошел ва-банк: какой из двух центров власти одержит верх? У каждого свои ставки, своя правда. Риск был налицо: враги генсека разорвали бы на куски и самого реформатора, и Челюсть, если бы пронюхали о сговоре. Но утечек не случилось, весь Монастырь в патриотическом безумии изо всех сил ловил Крысу, и трюки поверх его головы просто не допускались. И мост был

построен, забрезжила Смена Эпох. А начальники все охотились и охотились, не понимая, что происходит на самом деле.

– Неужели и Маня не был в курсе дела?

– Он ухватывал общую идею, но не понимал сути. Наивен и не в состоянии допустить, что начальство может вести свою игру. К тому же начальство всегда право.

– А как же Бритая Голова?

– Этот, конечно, подозревал. Но комплекс подозрительности жил в нем всегда и распространялся на всех. При таком охвате трудно добиться концентрации мысли. Ведь он и свои подозрения ставил под сомнение. Смерть Николая от твоей руки перевернула его мозги и совсем отвлекла от сюжета.

Вид у Алексашки был задумчивый, иногда в нем выпрямлялись какие-то пружины, и казалось, что он на меня набросится, но большей частью он походил на равнодушного ко всему робота, заведенного на одну мелодию.

Мои наблюдения прерывали запахи сыра, которым наглый малец зажирал вино. Алекс встал, что заставило и меня подняться с кресла.

– Выходит, что я снова государственный преступник, причем убийца Героя Нации, этакая Фанни Каплан в штанах, – сказано было не без иронии.

– В этом нет никакого сомнения, – сказал я с некоторой торжественностью, словно оглашая вердикт о расстреле.

– Но я выполнял приказ.

– Послушал бы ты послевоенные процессы эсэсовцев. Это обычная уловка фашистских преступников. Еще придумай что-нибудь о служении идее.

– На раннем этапе это было действительно так, – он сел, очевидно, слабо понимая, зачем вставал.

Душа моя зажглась ненавистью: он так ничего и не понял, он не изменился, и ничто не сделает его другим.

– Помнится, в свое время ты декламировал мне стишки какого-то одессита. Брызги летели у тебя изо рта, слюна капала на страницы. Тачанки, буденновки, пулемет системы Максима… потом какой-то бред о Робеспьере и французской революции, гимн санкюлотам. Я делал вид, что согласен с твоим песнопением, я нежно улыбался – это был естественный панцирь. Но в глазах у меня стоял мрачный рисунок англичанина Джеймса Гилрея “Ужин в семье санкюлотов после трудового дня”. На столе освежеванная голова, очевидно, аристократа, один мерзавец выдрал мутный глаз и ожесточенно его жует, у другого в зубах кисть руки умерщвленной девицы, он обсасывает пальчики, грязные детишки возятся на полу, догрызая человеческие кости…

Алекс хлебнул виски, видно, ему стало противно. Наступила тяжелая пауза.

– Итак, остаток жизни придется провести в тюрьме. Или… можно получить и вышку… – молвил он.

– Что с тобой? Взбодрись, если хочешь, прочитай вслух своего одессита! Какая вышка?! Она отменена, ее не должно быть по всем законам гуманизма. Да и что, собственно, произошло? Каждая эпоха имеет свой почерк. Сен-Жюста считали героем эпохи, а теперь? Ленин работал на германский генштаб, а стал гением пролетариата. Предатель Мазепа ныне герой Украины.

– Что же делать? Бежать за кордон? – Алексашка действительно растерялся, видно, представил себя в петле.

– Будешь работать у меня в конторе. Причем за хорошие деньги, больше, чем пенсия! Если какая-нибудь сволочь из твоих бывших коллег на тебя посягнет, – смерть в автокатастрофе.

Он посмотрел на меня с улыбкой, явно недоверчивой.

– Музей Монастыря?

– Нечто подобное, но при моей фирме. Я тебя не дам в обиду. За хорошие деньги с тобою будут ланчевать црувские пенсионеры, никогда в своей занудной жизни не встречавшие таких героев, как ты. В хороших ресторанах, с неограниченным правом выбора меню. Непыльная работа. И приятная.

Он дернулся, но смолчал. Еще бы, что может быть противнее общения с бывшими врагами, тем более если за это платят. На лице Алекса не дрогнул ни один мускул, правда, на шею мне он тоже не кинулся.

Я снял с руки свой золотой брегет и подошел к старому другу:

– Это тебе за службу Отечеству!

Мы смотрели друг другу в глаза холодно и бесстрастно. Забили напольные часы, словно в честь сего торжественного момента, брегет тонко поддакнул, оба мы словно отмечали смену эпох.

Абрахам-Луи Бреге, урожденный Невшателя, перевернулся в гробу, скелет заскрипел, из глазниц полыхнул огонь. Алекс улыбался, я почувствовал, что он действительно рад и жизнь, как говорится, удалась.

Эпилог

Алекс улыбался, он улыбался, и мысли его перетекали одна в другую, замирали, отмирали и вновь терзали голову. Можно представить, конечно, и мирную жизнь на дачке у реки, нанятую в деревне девку, корпящую над бочкой соленых огурцов, Алекса за бутылочкой виски, временами благодарно поглядывающего на подаренный брегет. Девка из деревни со временем стала счастливой супругой, и жили они счастливо, и отошли в мир иной в один день… ха-ха!

Один из вариантов, пожалуй, самый худший: слинять на необитаемый остров в Тихом океане, в комфортабельную деревеньку в Швейцарии, на Соловецкие острова, в небоскреб на Манхэттене (ненужное зачеркнуть). Уж что-что, а скрываться, незаметно перелетая невидимкой через границы, профессия научила.

Играй же на разрыв аорты с кошачьей головой во рту…

Жалко, что вокруг много сволочей и дураков, вот и Совесть Эпохи оказался гнидой. Я слишком много играл. Все играют. Служил стране. Вертелся ужом на сковородке, притворялся и потому побеждал. Покрутись еще разок, Алекс, повертись, с тебя все это, как с гуся вода. Извивайся, крути хвостом, как ошалевший тигр, подлизывайся, как сука последняя, жизнь всегда на твоей стороне, разве не спасает тебя Господь даже в самых безумных экстремальных ситуациях? Одиночество всегда с тобой, и все закончится одиночеством. Где я сейчас? Ау-ау! Иногда залезаешь на кокосовую пальму, сосешь молочко из ореха и вглядываешься вдаль: не показался ли на горизонте фрегат с надутыми парусами. Не заняться ли пиратством? Или еще круче: людоедством. Жаль, что времени осталось не так уж много…

И это все зажать в руке —
Пусть светят звезды вдалеке!
Шагай вперед, веселый робот!

…Шагай, старик, вперед, шагай, тебе и не такое приходилось! Что жизнь и смерть? Фата Моргана – и только. В конце концов, все мы превращаемся в пыль. И наша участь мгновенна, как и вся жизнь. Мгновенна. Все это не ново и совсем не откровение. Настроение чудесное, все в ажуре, все здоровы и, главное, живы, тебя все любят, вот и сын подарил мобильник, который открывается: “Привет, самый дорогой, единственный и неповторимый! ” Немного иронии, но это свойственно всей династии. Настроение отменное, хотя день нещадно мрачен, природа давит, пригибает, но и фиг с ней, впереди – огни, а в небе вечно-ласковые звезды.

Браунинг не пришлось искать, он лежал в толстой папке с разными раритетными бумаженциями: ученический билет времен средней школы, регистрационное удостоверение на могилу отца, пропуск в санчасть, пара неотправленных писем и прочие мелочи. Браунинг хранился с военных времен, настоящий, бельгийский, с четырьмя патронами, он чуть поблескивал и явно гордился своим возрастом. Найден в оврагах во время детской игры в войну, опробован в хмельном виде уже в зрелом возрасте, – пуля расколотила лампочку и вошла глубоко в потолок. Давние игры. Он погладил пистолет и ощутил приятный холодок

стали. Череп, конечно, не сохранится, мозги разлетятся по сторонам и загадят всю мебель. А может, просверлит маленькую дырочку, пронзит аккуратно, без ущерба для так называемой окружающей среды. Экологически чисто. Вызовут милицию. Зря, все равно все дела возьмут в свои руки наши, монастырские. Надо предусмотреть мелочи и оставить телефон службы. Может, вообще все замнут, словно ничего и не произошло (дежурный так и доложит шефу: “Никаких происшествий не произошло”). Может, проводят, как положено, с салютом (это греет). Или совсем тихо, без всяких выстрелов, словно столетнюю бабку, у которой давно перемерли все родственники.

И хрен с ними.

Они любить умеют только мертвых.

Нет, они даже мертвых любить не умеют, они ненавидят всех, кто мешал или мешает.

Умереть, не создавая дискомфорта.

Он тщательно расчесал пробор, усмехнулся. Остатки прежней роскоши. Аккуратно, стараясь не пораниться, выбрился старым “жилеттом”. Надел любимый твидовый пиджак, натянул белые брюки для форса, потер пистолет и положил его в карман. Осмотрел в последний раз комнату и вышел на улицу.

Парк, продуваемый ветром, встретил пением листьев, он все удалялся и удалялся, пока не добрел до полянки.

Жаль, что не завел собаку. Хотя… Бедная собачка потом выла бы, скучала.

Ни о чем не надо жалеть.

Все было прекрасно, могло быть и хуже.

Примечания

1

Я не пою аллилуйю овсянке, хлебным сосискам, яичнице с беконом и прочим безднам английской кухни, но ведь англичане всегда умели поесть на французский или на тот же итальянский манер. Существовали неторопливость, привередливость (по несколько раз отсылали вино), joi de vivre, наконец!

2

И во всем виноват прощелыга Ле Корбюзье, который чуть не разрушил Кремль ради своих уродств, которые, увы, ныне охватили весь мир.

3

“Дурак” по-турецки означает “стой”, и это весьма важно для читателя, не знающего турецкого.

4

Чудесный романс одного эмигранта:

> “Мой попугай Флобер…
> Он все поет «люблю, люблю, люблю»
> И плачет по" французски”.

5

Не монолог ли это короля Лира, озверевшего от подлости своих дочерей?

6

От этой пасты гордых болонцев тяжелеет живот и чудится нищета собственной

старости. Как у Георгия Иванова:

Бредет старик на рыбный рынок
Купить полфунта судака.
Блестят мимозы от дождинок,
Блестит зеркальная река.
Никто его не пожалеет,
И не за что его жалеть.
Старик скрипучий околеет,
Как всем придется околеть…

7

Пресса захлебывалась и превозносила прелести царского строя, а я почему-то вспомнил фото заспиртованной головы убийцы генерала Лауница, выставленной для опознания в Санкт-Петербурге.

8

В голове звучал стих Эдварда Лира на мотив детской песенки:

Так он умер, Дядя Арли,
С голубым сачком из марли,
Где обрыв над бездной крут;
Там его и закопали
И на камне написали,
Что ему ботинки жали,
А теперь уже не жмут.

9

Это напоминало рекламу некоего сексуального препарата, увиденную потом на родине: радостный мудозвон с пучком соломы, застрявшей аж в заднице после утех на сеновале, шагает по улице, а на него тоскливо взирает крысоподобный импотент.

10

Мысленно вспоминал бывшего настоятеля собора Джона Донна (не могу не сверкнуть эрудицией):

Чужбина тем, быть может, хороша,
Что вчуже ты глядишь на мир растленный.
Езжай. Куда? – Не все ль равно. Душа
Пресытится любою переменой.

11

Мысленно вспоминал бывшего настоятеля собора Джона Донна (не могу не сверкнуть эрудицией):

Чужбина тем, быть может, хороша,
Что вчуже ты глядишь на мир растленный.
Езжай. Куда? – Не все ль равно.
Душа Пресытится любою переменой.

12

Явись же в наготе моим очам:
Как душам – бремя тел, так и телам
Необходимо сбросить груз одежды,
Дабы вкусить блаженство. Лишь невежды
Клюют на шелк, на брошь, на бахрому —
Язычники по духу своему!
Джон Донн

13

Это напоминало забулдыжный, ха-ха, романс:

“Тобой овладел я на старой скамье
В тени петербургского сада.
И ты мне шептала в любовном огне:
«Не надо, не надо, не надо!»”

14

Лез в голову стишок из старика Бена Джонсона:

“Прощай, сынок! немилосердный Рок
Мне будто руку правую отсек.
Тебя мне Бог лишь на семь лет ссудил;
Я должен был платить – и заплатил!”

15

В детстве восторгался анекдотом: Дунаевский зашел в ресторан, закусил Мясковским с Хренниковым, запил Чайковским с Бизе. Ему стало Паганини, в животе у него сделалось Пуччини, он выскочил на Дворжака, сел на Глинку около Мусоргского, сделал Бах, взял Лист и вытер Шопена.

16

Словно вошь в штанах – так хотелось разбавить эту велеречивую фразу.

17

Рассыльный, канцелярский служащий в окружном суде (1916–1917), председатель разверточной комиссии (1918–1919). Следователь по ББ (борьбе с бандитизмом), пом. уполномоченного КРО, один круг белой эмали (это уже по линии лагерной).

18

Я в свое время тоже пал жертвой британского умения сделать из мухи слона: басни о гениальном полковнике Лоуренсе, о, самая коварная, самая тонкая, самая эффективная служба… а на самом деле насквозь нашпигована монастырскими послушниками.

19

Неизвестно почему, но в голову явились строчки, заученные еще в средней школе: “Милый друг, я умираю оттого, что был я честен. Но зато родному краю вечно буду я известен”. Хорошенького был о себе мнения скромник Алекс!

20

Заметки внука Алекса – Павлика. Прадед, наверное, был классным туборгом (словечко приспособил классик нашего мехленбургского модерна Пелевин до его поселения в Гималаях, раньше бытовали чудаки и чудихи, потом пошли чуваки и чувихи, затем застряли в козлах), но что такое подштанники? Профессор А. Смирницкий обозначил их словом underpants, это, в общем и целом, понятно, но тем не менее загадочно. У проф. В. Мюллера синонимом оных являются кальсоны, у старика Уэбстера они обозначены drawers [dro: z] or a pair of drawers, однако это ничего не проясняет особенно такому дотошному, как я. Расшифровано, что это одеяние для прикрытия ног и нижней части тела. Но как оно выглядит? Помнится, несколько дней я пытался понять слово “гульфик”, даже копался в городской компьютерной библиотеке Валетты, пока случайно не забрел в музей мальтийских рыцарей и не увидел все на картинке. Не знаю, как бы выглядели мои поиски на этот раз, если бы в библиотеке у просвещенного, но муторного деда (никогда не забуду, как он приучал меня к деревенской корове, подталкивал к ней, когда мы бродили по зеленым лужайкам у Виндзора), я не натолкнулся на книгу некоего Солсбери “Russia in Revolution”, там, на странице 154 я обнаружил изображение голодающего старика с поднятыми в отчаянии руками, в белой, почти до босых ног рубахе, из-под которой виднелись эти самые подштанники или underpants. Правда, на странице 219 я увидел иное: красивый постер, где стоял мужик почище, тоже в бороде, но с завязанными глазами. Одет он был в красную рубаху навыпуск, перевязанную веревкой (руки вытянул вперед), из-под нее виднелись весьма нарядные цветные штаны, по-видимому, подштанники, они были заправлены в шерстяные носки и тоже перевязаны толстыми веревками, причем на эти носки были надеты то ли слипперы, то ли купальные тапочки. Самое интересное, что человек одной ногой уже находился в пропасти (даже камень уже полетел вниз!) и под всем этим кошмаром стояла подпись: “НЕГРАМОТНЫЙ тот же СЛЕПОЙ, всюду его ждут неудачи и несчастья”. Конечно, прадед жил в страшное время, но ныне… Боже, если бы он знал, что ГРАМОТНЫЙ тот же СЛЕПОЙ!

21

Тут весьма в ходу новое слово “евроремонт”, чем он отличается от “азиоремонта”?

22

Бисмарк: “Нельзя победить народ, который зимою ест мороженое”.

23

Новое слово в моем вокабуляре. Вначале я сомневался в своем слухе, не подозревая, что сей рык означает некий взрыв неконтролируемых эмоций.

24

Тамплиеры вызывали у меня одну ассоциацию: кожаные подштанники, которые они бессменно носили (своего рода жертва богу), оттуда рвались вихри ароматов, ввергавших

окружающих в тяжелые обмороки.

25

В такие минуты только и думать о судьбе человечества. Обреченность механистической цивилизации, бесприютность духа и пустота души. О, эта нежная старушка, сестра моя жизнь!

26

Тут стоит вернуться к моим объяснениям разницы между “cock” и “rooster”.

27

Самое главное, что статуя Джона Донна, настоятеля собора, служила превосходным тайником, правда, к ней с тыльной стороны нужно было присобачить контейнер, но это уже дело техники.

28

Для справки немного С. Беккета: “…муж и жена не узнают друг друга на расстоянии в два шага. Пускай даже они подойдут друг к другу еще немного ближе, настолько, чтобы быть в состоянии коснуться друг друга, и, не останавливаясь, обменяются взглядом. Если они и припомнят друг друга, со стороны это незаметно. Что бы они ни искали, это явно что-то другое”.

29

Говоря о красоте демимонденок, невольно вспоминаешь Донна, чей образ запечатлен в соборе св. Павла: “Женись на Флавии, мой дорогой! В ней сыщешь все, что было бы в другой прекрасным: не глаза ее, а зубы черны, как ночь; не грудь ее, а губы белей, чем алебастр; а нос – длинней ее, как перлы, редкостных кудрей…”

30

Тут включить бы под саксофон автоэпитафию Джона Гея: “Какой обман вся наша жизнь земная! Так раньше думал я, теперь я это знаю”.

31

Кто бы мог подумать, что рыбы способны научиться играть в футбол? Между тем ученые уже не считают их бессмысленными созданиями, практически лишенными памяти.

32

Мать говорила, что эту страсть я унаследовал у отца.

33

Заметки внука Алекса Павла. Дед и все его поколение прокакали революцию, которую кровью завоевали прадед и другие бесстрашные революционеры. Они вполне довольствовались любительской колбасой и гречневой кашей с молоком, пили портвейн “777” и водку и трахались с простыми бабами, а не женами известных (!) режиссеров. Они только слышали о проститутках и минетах и в нравственном отношении создали такую планку, преодолеть которую нам уже невозможно…

34

До сих пор вводят в транс мемуары Казановы, в особенности пассаж, когда с чужой женой он мчится в фиакре, но гремит гроза, сверкают молнии, и перепуганная дама укрывается у него на коленях (тут он лезет за портсигаром в панталонах и молится о бесконечности бушующей стихии). А лошади летят по рытвинам и ухабам, доводя партнеров до полного экстаза.

35

Только не тем принцем, которого удавил некий граф Орлов…

36

Гори, гори, моя звезда, большая Задница!

37

Место знаменито тем, что там чемпиона мира по теннису Бориса Беккера окрутила русская авантюристка, имитировав интимную связь, причем самым невероятным способом. В результате бедолаге пришлось платить алименты в миллионных суммах.

38

Если бы собрать воедино все пароли, которые использует разведка, то получился бы словарь Абсурда, приводящий в восторг душевнобольных.

39

“Как будто сотня идиотов городят хором ерунду”. Гете. Но это все из словаря Абсурда.

40

Очень таинственно и понятно лишь старым ветеранам.